

Владимир Набоков

ПРОЗРАЧНЫЕ ПРЕДМЕТЫ

1

Вот персонаж, который нам нужен. Привет, мой мальчик! Не слышит меня.

Возможно, если бы существовало будущее, конкретно и индивидуально, как нечто доступное более совершенному разуму, прошлое не казалось бы таким соблазнительным: его притязания на день сегодняшний были бы уравновешены притязаниями будущего. Душа чувствовала бы себя стоящей на качелях в середине доски, рассматривая любой предмет. Было бы забавно!

Но грядущее не имеет той реальности, которой обладают воображаемое минувшее и видимое настоящее, будущее всего лишь фигура речи, призрак мысли.

Привет, персонаж! В чем дело, отстаньте от меня. А мы и не пристаем к нему. Привет, Персик... (на этот раз очень тихим голосом).

Когда мы, бесплотные существа, сосредоточены на материальном предмете, что бы с ним ни происходило, наше внимание может привести к невольному погружению в историю этого предмета. Новички должны научиться скользить по поверхности, если хотят удержаться на уровне данного момента. Прозрачные вещи, сквозь которые проступает прошлое!

Предметы, созданные руками человека или природой, инертные сами по себе, потрепанные небрежно обращающейся с ними жизнью (вы правильно подумали о камне, пристроившемся на склоне, камне, через который в течение бесчисленных времен года перепрыгнуло множество маленьких зверьков), особенно трудно зафиксировать в приближенном фокусе: новички проваливаются сквозь поверхность, беспечно напевая себе под нос, и вскоре с детским азартом отдаются истории этого камня, этого пустыря. Сейчас объясню. Тонкий слой сиюминутной реальности покрывает естественные и искусственные материальные объекты, и тот, кто хочет оставаться в настоящем, с настоящим, при настоящем, не должен, упаси бог, повредить поверхностную пленку. Иначе неопытный чудотворец обнаружит, что уже не ступает по воде, а погружается вертикально среди выпятивших глаза рыб. К этому мы еще вернемся.

2

Пока персонаж, Хью Персон (фамилия, обязанная своим происхождением Петерсонам, некоторые произносят «Парсон»), выдвигал свое угловатое тело из такси, доставившего его из Трю на этот третьеразрядный горный курорт, а голова все еще находилась в проеме дверцы, рассчитанной на карликов, взгляд его был устремлен вверх не для того, чтобы ответить на услужливый жест шофера, открывавшего для него дверцу, а с тем, чтобы сличить вид гостиницы «Аскот» (вот и вывеска Аскот!) с воспоминаниями восьмилетней давности, – пятая часть его жизни, выжженная скорбью. Жутковатое здание из серого камня и коричневого дерева выставляло напоказ вишнево-красные ставни (не все из них закрыты), которые в силу некоторого дальтонизма памяти запомнились ему как яблочно-зеленые. Вход был украшен двумя вокзальными фонарями на металлических столбах. Швейцар, в поношенном зеленом мундире с галунами, сбежал, спотыкаясь, по ступеням, чтобы взять два чемодана и обувную коробку под мышку – все это шофер уже вынул из зевающего багажника. Персон расплатился с расторопным водителем.

Неузнаваемый холл был все таким же неопрятным, как восемь лет назад.

У гостиничной стойки, записывая свое имя и расставаясь с паспортом, он спросил по-французски, по-английски, по-немецки и снова по-английски, все ли еще здесь старый Крониг, директор, чье одутловатое лицо и наигранную веселость он помнил так отчетливо.

Администраторша (белокурый пучок на затылке, нежная шея) сказала: нет, месье Крониг уволился, чтобы стать управляющим, представьте себе, Лазурной Лазаньи (во всяком случае так послышалось). Травянисто-зеленая, небесно-голубая открытка, изображающая нежащихся на солнце постояльцев, была показана как иллюстрация или доказательство. Имелась подпись на трех языках, но только немецкая была внятной. Английская же гласила: «Лужайка для лежания», и, словно нарочно, обманчивая перспектива увеличивала лужок до чудовищных пропорций.

– Он умер в прошлом году, – добавила девушка (в анфас совсем не похожая на Арманду), тем самым и вовсе развеяв возникший было интерес к голубой гостинице, поманившей в Лозанну.

– Значит, нет никого, кто бы меня помнил?

– Сожалею, – сказала она с будничной интонацией его покойной жены.

А поскольку он не мог вспомнить, какую комнату занимал на третьем этаже, она не отправила его на третий этаж, тем более что все номера там были заняты. Прижав ладонь ко лбу, он вспомнил, что номер комнаты был где-то посреди третьей сотни, она выходила на восток, солнце здоровалось с ним по утрам, расшаркиваясь на коврик у кровати, а вид из комнаты был так себе, никакой. Он хотел получить тот самый номер, но правила требовали уничтожения записей в том случае, если директор, даже бывший, сделал то, что совершил Крониг

(самоубийство – ведь это, в сущности, подделка счетов). Ее помощник, ладный молодой человек в черном, с прыщиками на горле и подбородке, провожал Персона в номер на четвертом этаже и все смотрел с зачарованностью телезрителя на голую синеватую стену, едушую вниз, а с противоположной стороны не менее внимательное зеркало в лифте отражало в течение нескольких залитых светом мгновений господина из Массачусетса с худым, скорбным лицом, слегка выступающей челюстью и двумя симметричными складками вокруг рта, которые могли бы намекнуть на нечто лошадиное, brutальное, скалолаз–ное, когда бы меланхолическая сутулость не опровергала каждый дюйм его мужского великолепия.

Комната тоже выходила на восток, но был еще и вид из окна: в огромном котловане кишели экскаваторы, затихающие по субботним вечерам и воскресеньям.

Зеленый швейцар принес два чемодана и обувную коробку, после чего Персон остался один. Он знал, что гостиница старовата, но не предполагал, что до такой степени. Belle chambre[1] на четвертом этаже слишком велика для одного постояльца, но маловата для семьи, особого комфорта в ней, прямо скажем, не было. Он вспомнил, что комната этажом ниже, где он, взрослый мужчина тридцати двух лет, плакал чаще и безутешней, чем когда-либо в своем грустном детстве, тоже была безобразной, но по крайней мере не такой вытянутой и загроможденной, как его новое пристанище. Кошмарная кровать. В ванной комнате имелось биде (столь большое, что могло бы устроить цирковую слоницу в сидячем положении), но ванны не было. Стульчак отказывался стоять вертикально. Кран взбунтовался, произведя сильный плевков ржавой воды перед тем, как успокоиться и перейти на смиренную тонкую струйку, которую вы не достаточно цените, в которой есть своя тайна и да-да, заслуживает памятников, благоговейного поклонения! Покинув отпугивающую уборную, Хью тихо притворил за собой дверь, но, взвизгнув, как глупое домашнее животное, она потянулась за ним в комнату. Позвольте теперь подробнее рассказать о наших затруднениях.

3

В поисках полок для размещения своих вещей Хью Персон, человек аккуратный, заметил, что средний ящик старого письменного стола, загнанного в темный угол комнаты и подпирающего лишенный лампочки и абажура торшер, похожий на скелет сломанного зонта, не был как следует задвинут жильцом или горничной (в действительности ни тем, ни другой), последней, кто проверял его пустоту (никто не проверял). Мой добросовестный Хью попытался засунуть его на место: тот сперва отказался повиноваться, затем вследствие случайного рывка, преумноженного энергией нескольких потряхиваний, выдвинулся и выплюнул карандаш. Быстро осмотрен и положен назад.

То был не шестигранный красавец из виргинского можжевельника или африканского кедра с именем производителя, оттиснутым серебром, но совсем простой, круглый, безмянный старый карандаш из дешевой сосны, грязно-сиреневого цвета. Забытый десять лет назад столяром, не закончившим осмотр старого стола, не говоря уже о его починке, ушедшим за инструментом, которого так и не нашел. Вот мы и вернулись к разговору о предметах.

В его мастерской, и задолго до того – в деревенской школе, карандаш изнашивался на треть своей изначальной длины. Голое дерево заточенного конца потемнело до свинцово-сливового оттенка, слившись, таким образом, с тупым грифелем, чей тусклый блеск только и отличал его от древесины. Нож и латунная точилка тщательно потрудились над ним – и при необходимости мы можем проследить сложные судьбы срезанных чешуек, сиреневатых с одной стороны и коричневых с другой, внутренней, но теперь рассыпавшихся в атомы праха, чей широкий-широкий разброс – перехватывающий дыхание ужас, но следует быть выше этого, к этому довольно быстро привыкают (есть на том свете вещи и пострашнее). В целом он неплохо стачивался, будучи старомодным. Вернувшись на ряд сезонов назад (не делая, разумеется, опрометчивой попытки попасть в год рождения Шекспира, когда карандашный грифель был изобретен) и затем проследив историю предмета в направлении «настоящего», мы видим, как мелко истолченный графит смешивают с влажной глиной старики и девушки. Эту массу, эти спрессованные зерна помещают в полую металлическую трубку с голубым глазком сапфира на конце и отверстием в нем, через которое и пропускают графитный порошок. Он тянется в виде непрерывного аппетитного стержня (присматривай за нашим маленьким дружком!), выглядящего так, словно сохранил форму пищеварительного тракта могильного червя (смотри, смотри, не отвлекайся!). Теперь его режут на отрезки, требующиеся для тех самых карандашей (мы видим разрезальщика, старого Элиаса Борроудейла, приготовились было вскарабкаться из праздного любопытства по его запястью, но остановились, остановились и отпрянули, торопясь найти нужную нам заготовку). Смотри, как его обжигают, варят в жиру (вот и снимок покрытого блохами животного, давшего жир, его забивают, фотография мясника, фотография пастуха, отца пастуха – мексиканского переселенца) и одевают древесиной.

А теперь постараемся не потерять наш драгоценный кусок грифеля, пока подготавливаем древесину. Вот дерево! Та самая сосна! Ее валят. Нужен только ствол, очищенный от коры. Мы слышим рев недавно изобретенной бензопилы, видим, как сушат и строгают доски. Вот доска, которая пригодится и для нашего карандаша, лежащего в мелком ящике письменного стола (так и не задвинутом). Мы различаем его присутствие в доске, как различаем доску в дереве, а дерево в лесу, а лес в мире, который построил Джек. Различаем это присутствие по абсолютно ясным признакам того, что не имеет имени и невозможно описать, как не объяснить улыбку тому, кто никогда не видел смеющихся глаз.

Таким образом, вся маленькая драма, от кристаллического углерода и поваленной сосны до этого смиренного орудия письма, этого прозрачного предмета, разворачивается в одно мгновение. Увы, сам карандаш, быстро ошупанный пальцами Хью Персона, как-то ускользает

от нас. Но Персону ускользнуть не дано.

4

То была его четвертая поездка в Швейцарию. Первая состоялась восемнадцать лет назад, когда он вместе с отцом провел несколько дней в Трю. Через десять лет, в тридцать два года, он вновь посетил этот ветхий городок на берегу озера и не без успеха нянчился с сентиментальными переживаниями – полураскаянием–полуизумлением, – навестив гостиницу, где они жили. Горбатая улочка и старая лестница взбирались к ней от набережной, где располагалась безликая станция, туда его и доставил местный поезд. Он запомнил название гостиницы – «Локет», так как оно оказалось созвучным девичьей фамилии его матери, канадской француженки, которую Персону–старшему суждено было пережить меньше чем на год. Еще ему запомнилось, что гостиница была второсортной и унылой, покорно стоявшей рядом с другой, куда более фешенебельной, сквозь окна первого этажа которой можно было различить призраки блёклых столиков и двигавшихся, словно под водой, официантов. Обе гостиницы нынче снесены, и на их месте вырос Vanque Bleue, суровое сооружение, все из отполированных поверхностей, стекла и растений в кадках.

Спал он в легкомысленно–карикатурном алькове, отделенном аркой и вешалкой от постели отца. В ночи всегда есть что-то от циклопа, но та выдалась особенно жуткой. Хью привык спать в своей комнате, он ненавидел общую могилу сна и угрюмо надеялся, что обещание отдельных спален будет неукоснительно соблюдаться на всех отрезках их швейцарского турне, смутно проступавшего в феерическом тумане. Шестидесятилетний отец, ниже Хью ростом и плотнее его, неаппетитно состарился за время недолгого вдовства; его одежда источала характерный душок тления, слабый, но безошибочный; он вздыхал и постанывал во сне, разгребая неподъемные глыбы мрака, которые надлежало рассортировать и убрать с дороги – по ней приходилось карабкаться в горячечных позах немоги и отчаяния. Мы не можем найти в картотеке путешествий по Европе, рекомендованных семейными докторами удалившимся от дел старикам, дабы смягчить горечь одиночества, хотя бы одну поездку, достигшую намеченной цели.

У Персона–старшего всегда были руки–крюки, но в последнее время движения, которыми он нашаривал предметы в проточной воде пространства, преследуя скользящий обмылок уклончивой материи или тщетно пытаясь стянуть или развести те части изготовленных человеком изделий, которые должны быть сцеплены или расцеплены, – такие движения приобретали все более комический характер. Хью отчасти унаследовал эту неуклюжесть, но в нынешнем отцовском варианте она раздражала его, как чрезмерное пародирование. В свое последнее утро в так называемой Швейцарии (то есть накануне события, которое всё сделает для него так называемым) старый пень сражался с жалюзи,

чтобы узнать, какая нынче погода, но успел разглядеть лишь клочок мокрой мостовой до того, как они рухнули гремучей лавиной, и решил взять зонт. Зонт был неаккуратно сложен, и Персон стал приводить его в порядок. Сначала Хью взирал на это с молчаливым отвращением, ноздри раздувались и дергались. Презрение было незаслуженным, поскольку существует множество вещей, от живых клеток до потухших звезд, то и дело претерпевающих случайные мелкие неприятности от не слишком бережных рук анонимных экспериментаторов. Черные фалды легли неровно, нуждаясь в перетасовке, и к тому моменту, как кольцо на ленточке готово было исполнить свою роль (маленький осязаемый кружок между большим и указательным пальцем), пуговица затерялась в складках и бороздах материи. Понаблюдав с минуту за этими беспомощными действиями, Хью выхватил зонт из отцовских рук так резко, что старик еще мгновение продолжал перебирать воздух, пока не ответил мягкой виноватой улыбкой на внезапную грубость. Не говоря ни слова, Хью яростно сложил и застегнул зонт, который, сказать по правде, вряд ли обрел лучший вид, чем тот, что в конце концов ему придал бы отец.

Как предполагалось провести день? Собирались позавтракать в том же месте, где обедали накануне, затем сделать покупки и осмотреть достопримечательности. Местное чудо природы – Тарский каскад был намалеван на двери уборной в коридоре, а также красовался на большой фотографии в вестибюле. Доктор Персон задержался у стойки, чтобы осведомиться, с обычной своей суетливостью, нет ли для него писем (как если бы он их от кого-то ждал). После непродолжительных поисков всплыла телеграмма для миссис Парсон, а для него – ничего, кроме приглушенного шока неполного совпадения. Тугой моток сантиметра случайно подвернулся ему под руку – и он стал обматывать его вокруг своей широкой талии, несколько раз теряя конец и все объясняя мрачной администраторше, что он хочет купить в городе летние брюки и намерен подойти к этому серьезно. Вся эта бессмыслица так раздражала Хью, что он направился к выходу еще до того, как серая лента снова была свернута и возвращена на место.

5

После завтрака они нашли подходящий магазин. Confections. Notre vente triomphale de soldes[2]. «Наша падалица с триумфом распродается», – перевел отец и был презрительно-устало поправлен сыном. Корзина со сложенными рубашками стояла на железной треноге перед витриной, не защищенная от дождя, усилившегося теперь. Ударил гром. «Забежим сюда», – испуганно сказал доктор Персон, чей страх перед грозой был еще одним источником раздражения для Хью.

В то утро Ирма, измотанная и нервная продавщица, оказалась одна на весь посредственный магазин одежды, в который Хью вынужденно последовал за отцом. Супружеская пара ее сослуживцев накануне была

госпитализирована после пожара в их тесной квартире, хозяин уехал по делам, а покупателей оказалось больше, чем обычно бывает по четвергам. В данную минуту она помогала трем пожилым дамам (часть автобусной экскурсии из Лондона) выбрать покупку и в то же время объясняла белокурой немке в черном, где можно сфотографироваться на паспорт. Англичанки одна за другой прикладывали цветастое платье к груди, и доктор Персон с готовностью переводил их кудахтанье с лондонского кокни на ломаный французский. Девушка в трауре вернулась за свертком, забытым ею. Очередные платья покачивали рукавами, глаза косились на очередные ярлычки. Зашел с двумя маленькими девочками еще один посетитель. И тут же доктор Персон попросил показать ему летние брюки. Получил несколько пар и был направлен в примерочную, а Хью вышел из магазина.

Он бесцельно ходил, стараясь держаться под прикрытием архитектурных выступов: местная газета в этом дождливом городке тщетно призывала к возведению крытых галерей в торговом районе. Заглянул в сувенирную лавку. Ему показалась привлекательной зеленоватая статуэтка лыжницы, сделанная из материала, который он не мог определить сквозь стекло витрины (то была алебастровая имитация арагонита, вырезанная и раскрашенная в Грумбельской городской тюрьме узником-гомосексуалистом, выдавшим виды Арманом Рейвом, задушившим голыми руками кровосмесительницу-сестру своего любовника). А как насчет той расчески в чехле из настоящей кожи, как насчет нее, как насчет... ах, она моментально запачкается, и не меньше часа уйдет на то, чтобы выудить грязь меж ее частых зубчиков с помощью одного из маленьких лезвий вон того перочинного ножа, что оцетинился, выставив напоказ свои наглые внутренности. Славные наручные часы с портретом собачки, украшающей циферблат, всего за двадцать два франка. Или купить (для соседа по комнате в университетском общежитии) эту деревянную тарелку с белым крестом посередине, окруженным всеми двадцатью двумя кантонами? Хью тоже было двадцать два года, и его всегда тревожили символические совпадения.

Двойной звонок и мигающий красный свет на железнодорожном переезде возвестили предсказуемое событие: медленно и неумолимо опустился шлагбаум.

Коричневая занавеска, задернутая лишь наполовину, не скрывала стройные женские ноги, облаченные в прозрачную черноту. Мы безумно торопимся поймать это мгновение! Занавеска уличной кабинки с чем-то вроде винтовой табуретки пианиста для высоких и маленьких и автомат, фотографирующий вас для паспорта или просто так. Хью посмотрел на ноги, а затем на вывеску над автоматом. Мужской род окончания и отсутствие знака accent aigu[3] разрушали непреднамеренный каламбур:

[4]

Пока он, все еще девственник, воображал эти рискованные позы, произошло двойное событие: прогремел гром промчавшегося поезда и магниевая молния осветила кабинку. Блондинка в черном, не испепеленная на электрическом стуле, вышла, закрывая сумочку. Какие

бы похороны она не хотела увековечить этим снимком чистой красоты, облаченной в траур по данному случаю, все это никак не было связано с третьим одновременным происшествием по соседству.

Пойти бы за ней, был бы хороший урок – пойти за ней, вместо того чтобы глазеть на водопад, – хороший урок для старого дурака. Чертыхнувшись и вздохнув, Хью повернул назад в сторону магазина. Впоследствии Ирма рассказывала соседкам, что ей показалось, будто господин ушел вместе с сыном, и поначалу не могла даже понять, что хочет сказать сын, хотя он здорово говорил по-французски. А когда поняла, засмеялась над собственной глупостью, повела Хью к примерочной, все еще смеясь откинула зеленую (а не коричневую) занавеску жестом, который лишь потом приобрел драматический характер. В одежной путанице и беспорядке всегда есть комический оттенок, мало что на свете так смешно, как три брючные пары, схлестнувшиеся в застывшем танце на полу: песочные брюки – синие джинсы – старые штаны из мышинной фланели. Неуклюжий Персон-старший пытался просунуть обутую ногу в коленчатый изгиб узкой штанины, когда почувствовал, как багровый прилив с гулом заполняет голову. Он умер еще до того, как рухнул на пол, словно падая с большой высоты, и теперь лежал на спине, одна рука неловко вытянута, зонт и шляпа – вне пределов досягаемости, в глубоком зазеркалье.

6

Этот Генри Эмери Персон, отец нашего персонажа, может быть охарактеризован как благонамеренный, серьезный, славный малый или как отъявленный мошенник в зависимости от того, как падает свет, под каким ракурсом посмотреть. Кто не заламывал рук во тьме раскаяния, в застенке непоправимых сожалений? Школьник, будь он даже силен, как душитель из Массачусетса (покажи нам свои руки, Хью), не может совладать с одноклассниками, когда те отпускают жестокие шуточки на счет его отца. После двух-трех сумбурных потасовок с самыми отвратительными из них он усвоил более рациональное и выгодное отношение к происходящему в виде молчаливого смирения, ужасавшего его при мысли о тех временах; но (любопытный изгиб совести) наличие самого чувства ужаса успокаивало его, словно доказывая, что он не абсолютное чудовище. Теперь ему предстояло как-то справиться с рядом воспоминаний о своей жестокости, в которой он был повинен вплоть до сегодняшнего дня: от них следовало так же отделаться, как от зубных протезов и очков, переданных ему властями в бумажном пакете. Единственный родственник, которого он мог подключить к этому делу, – дядя в Скрантоне, – посоветовал ему из-за океана кремировать тело в Европе, а затем отвезти урну домой; однако выбранный им способ оказался еще проще, главным образом потому, что позволял избавиться от страшного груза на месте.

Все помогали, как могли. Хочется в особенности выразить

признательность Хэрольду Холлу, американскому консулу в Швейцарии, оказавшему всевозможную поддержку нашему бедному другу.

Из двух радостей, испытанных юным Хью, одна имела общий, другая – частный характер. Первая сводилась к чувству освобождения, как если бы сильный ветер, яростный и чистый, унес прочь множество лишней житейской шелухи. Вторая состояла в том, что он обнаружил в отцовском потрепанном, но толстом кошельке три тысячи долларов. Как многие молодые люди, отмеченные темным даром, он ощущал в пачке ассигнаций всю осязаемую сумму непосредственных восторгов и был лишен практической жилки, желания увеличить капитал, а также страхов относительно своего будущего (они и вовсе развеялись, когда выяснилось, что наличность только десятая часть его наследства). В тот же вечер он перебрался в более роскошный отель, заказал *homard à l'américaine*[5] на ужин и отправился на поиски своей первой шлюхи в переулке на задворках гостиницы.

По оптическим и физиологическим причинам плотская любовь менее прозрачна, чем другие куда более сложные вещи. Тем не менее нам известно, что в своем родном городке Хью ухаживал за тридцативосьмилетней матерью и ее шестнадцатилетней дочерью, но проявил себя импотентом с первой и недостаточно решительным со второй. Здесь мы сталкиваемся с банальным случаем затянувшегося эротического зуда, одинокой практикой его привычного удовлетворения и навязчивыми грезами. Девушка, которую он окликнул, была приземистой, имела миловидное, бледное, несколько вульгарное лицо с итальянскими глазами. Она тут же повела его в один из наиболее приличных номеров в жутковатом старом пансионе, в тот самый номер, между прочим, где девяносто один, девяносто два, почти девяносто три года назад русский писатель останавливался на пути в Италию. Кровать – совсем другая, с бронзовыми шипами, застеленная, расстеленная, накрытая сюртуком, снова застеленная, на ней стоял полуоткрытый саквояж в зеленую клетку, а сюртук был уже брошен на голые плечи мрачного, расхристанного странника в ночной рубахе, застигнутого нами в момент решения, что вынуть из саквояжа (который он отправит почтовым дилижансом вперед) и переместить в рюкзак (который он понесет сам через горы к итальянской границе). С минуты на минуту должен появиться его товарищ, художник Кандидатов, – для совместной вылазки, одной из тех легкомысленных прогулок, которые предпринимали романтики даже и под августовским морозящим дождем; дожди в те малокомфортабельные времена были еще более беспросветными; сапоги его не успели просохнуть после десятидневного похода в ближайший игорный дом. Они стоят за дверью в позе изгнания, а хозяин их обернул ноги в несколько слоев немецкой газеты, на языке которой ему читать легче, чем по-французски. Остается решить, положить ли в рюкзак или отправить в саквояже рукописи: сырые наброски писем, незаконченный рассказ в русской тетради с черным матерчатым переплетом, главы философского трактата в синем блокноте, купленном в Женеве, и разрозненные листы начатого романа с предварительным названием «Фауст в Москве». Пока он сидит за ломберным столиком, тем самым, на который персоновская шлюха бросила свою сумочку, из-под нее проступает первая страница «Фауста» с энергичными вычеркиваниями, неряшливыми вставками, сделанными лиловыми, черными, крокодилово-зелеными чернилами. Собственный почерк завораживает его

внимание, хаос на странице для него лучше всякого порядка, помарки – декорации, а пометки на полях – кулисы. Вместо того чтобы рассортировать бумаги, он откупоривает дорожную чернильницу и придвигается к столу с пером в руке. В эту минуту раздается бодрый стук в дверь. Она распахивается и тут же закрывается.

Хью Персон, спустившись за своей случайной спутницей по длинной крутой лестнице, проводил девицу к ее любимому перекрестку, где они и расстались на много-много лет. Он надеялся пробыть с ней до утра и таким образом сэкономить на ночлеге в гостинице с мертвым постояльцем, притаившимся в каждом темном углу одиночества, но она, увидев, что Хью хочет остаться, неверно истолковала его намерение и жестоко сказала, что слишком много времени уйдет на то, чтобы снова привести в форму такого слабосильного любовника, и вывела его на улицу. Но заснуть помешал ему не призрак отца, а духота. Он распахнул настежь обе створки окна; под ним, четырьмя этажами ниже, располагалась автомобильная стоянка; тонкий месяц над головой был слишком бледен, чтобы осветить крыши домов, спускавшихся к невидимому озеру; свет от гаража выхватывал ступени пустынных лестниц, ведущих в царство теней; все это представлялось жалким и далеким, и наш боявшийся высоты Персон почувствовал, как сила тяготения приглашает его присоединиться к ночи и к отцу. В отрочестве он не раз нагишом разгуливал во сне, но знакомая обстановка оберегала его, пока в конце концов странная болезнь не пропала. Но сегодня, на верхнем этаже чужой гостиницы, он чувствовал себя беззащитным. Закрыл окно и провел в кресле остаток ночи.

7

В те далекие ночи, когда на Хью находили приступы сомнамбулизма, он выходил из спальни в обнимку с подушкой и спускался по лестнице. Просыпался в странных местах: на ступенях, ведущих в погреб, или в кладовке в прихожей, среди галош и дождевиков; и хотя не слишком бывал напуган этими босоногими вылазками, тем не менее, не желая «походить на привидение», просил запираить его на ночь. Впрочем, и это не помогало, потому что он вылезал через окно на скат крыши над галереей, ведущей в школьное общежитие. В первый раз, когда он это проделал, холодок черепицы под его ступнями разбудил его, и он вернулся назад в темноте, обходя стулья и другие препятствия скорее на слух, чем на ощупь. Глупый старый доктор посоветовал родителям расстелить на полу у кровати мокрые полотенца и расставить тазы с водой на его пути, – несмотря на это, он преодолел все преграды в своем волшебном сне и очнулся дрожащим от холода рядом с дымоходом на крыше, в компании со школьным котом. Вскоре после этого инцидента призрачные похождения пошли на убыль, они практически прекратились в позднем отрочестве. Предпоследним эхом этих чудес запомнился курьезный случай борьбы с прикроватным столиком. Произошло это, когда Хью учился в колледже и снимал с однокурсником Джеком Муром

(нет, не родственник Джулии) две комнаты в недавно построенном Снайдер-холле. Джек был разбужен среди ночи, после изнурительного дня предэкзаменационной зубрежки, грохотом в смежной комнате. Он пошел посмотреть, в чем дело. Хью приснилось, что его прикроватный столик, маленький трехногий уродец, перекочивавший к нему из-под телефона в коридоре, отплясывает яростный воинственный танец, как это было уже однажды в присутствии Хью на спиритическом сеансе, когда захожую тень Наполеона спросили, не скучает ли она по весенним закатам на острове Св. Елены. Джек Мур обнаружил друга энергично свесившегося с кровати, обеими руками обхватившего невинный предмет в уморительной попытке остановить его воображаемую пляску. Книги, пепельница, будильник, пузырек с микстурой от кашля валялись на полу, а истязаемая вещь кряхтела и потрескивала в объятиях безумца. Джек Мур расцепил борцов. Хью молча повернулся на другой бок и заснул.

8

В течение десяти лет между первым и вторым визитом Хью в Швейцарию он зарабатывал на жизнь теми унылыми способами, что становятся уделом незаурядных молодых людей, которым недостает конкретного дара и честолюбия, в результате чего они привыкают вкладывать лишь малую часть своей души в рутинные или жульнические занятия. Что они делают с другой куда большей частью, как и где прячутся их подлинные мысли и чувства, — не то чтобы это было тайной, теперь здесь нет никаких тайн, но ответ на этот вопрос потребовал бы объяснений и разоблачений, увы, слишком печальных и страшных, чтобы заглянуть им в глаза. Ибо только специалисты должны исследовать нищету духа.

Он умел умножать в уме восьмизначные цифры, но утратил эту способность за несколько тусклых тающих ночей во время своего пребывания в больнице с вирусной инфекцией в двадцатипятилетнем возрасте. В университетском журнале он опубликовал поэму — длинную, извилистую вещь, начинавшуюся весьма многообещающе:

Загадка многоточия... Вот солнце на закате — Пример для подражания озерцу... Отправил перепечатанное несколько лет спустя в сборнике «Дорогая редакция» письмо в лондонскую газету «Таймс», в котором, между прочим, говорилось: «Анакреон умер в восемьдесят пять, подавившись „позвонком виноградной плоти“ (как сказал другой иониец), Алехину предсказала цыганка, что он примет смерть в Испании от мертвого быка». По окончании университета семь лет он служил секретарем и безымянным помощником известного шарлатана — ныне покойного символиста Атмана — и целиком в ответе за примечания вроде: «Кромлех (каменные постройки эпохи неолита, ассоциирующиеся с молоком: milk, milch, mleko), очевидно, символ Великой Матери, подобно тому как менгир (нем. „майн хер“) — символ мужественности».

Какое-то время подвизался в торговле канцелярскими принадлежностями, и чернильная ручка, которую он рекламировал, получила название «авторучка Персона». Она осталась самым большим его достижением.

Двадцатидевятилетний угрюмец, он устроился в большое издательство, где работал младшим сотрудником, охотником за талантами, заместителем редактора, редактором, и корректором, и приставленным к авторам льстецом. Усталый раб, он был отдан на время в распоряжение миссис Флэнкард, экзальтированной и претенциозной даме с пунцовым лицом и глазами спрута, чей тяжеловозный роман «Жеребец» был принят к публикации при условии, что он будет радикально переделан, безжалостно сокращен и частично переписан. Двух-трехстраничные заплаты, наложенные тут и там, должны были закрыть черные кровоточащие раны на месте щедро вырезанной повествовательной ткани меж уцелевшими главами. Эта работа была выполнена одной из коллег Хью, блондинкой с лошадиным хвостиком, затем уволившейся из издательства. У нее писательского таланта было еще меньше, чем у миссис Флэнкард, и теперь Хью предстояло не только устранить образовавшиеся швы, но и удалить оставшиеся нетронутыми жировики и бородавки. Он несколько раз пил чай в гостях у миссис Флэнкард в ее очаровательном загородном доме, украшенном исключительно живописью ее покойного мужа: ранняя весна – в прихожей, летний день – в гостиной, все богатство осенних красок Новой Англии – в библиотеке, зима – в спальне. Хью не стал задерживаться в этой комнате, так как не мог отделаться от странного чувства, что миссис Флэнкард не прочь быть изнасилованной под розоватыми снегами мистера Флэнкарда. Как многие переспелые дамы с признаками сохранившейся красоты, посвятившие себя искусству, она как будто и впрямь не понимала, что большой бюст, морщинистая шея и затхлый запах женского увядания, смешанный с одеколоном, может оттолкнуть чувствительного мужчину. Он вздохнул с облегчением, когда «наша» книга наконец вышла в свет.

Благодаря коммерческой прыти «Жеребца» он тут же получил более престижное задание. «Мистер R.», как называли его в редакции (игнорируя громоздкую немецкую фамилию из двух частей и благородной частицы, застрявшей меж замком и утесом), писал по-английски гораздо лучше, чем говорил. На бумаге все приобретало пропорциональность, богатство, показной блеск, которые надоумили некоторых наименее требовательных рецензентов на его новой родине, где он почти не бывал, приветствовать в нем мастера стиля.

Мистер R. был обидчивым, неприятным, сварливым адресатом. Общению с ним через океан (мистер R. жил то в Швейцарии, то во Франции) недоставало сердечной теплоты отношений с миссис Флэнкард; зато мистер R., не будучи, возможно, художником самой чистой пробы, был по крайней мере настоящим сочинителем, сражавшимся на собственной территории своими средствами за право пользоваться непринятой пунктуацией, соответствующей необщей мысли. Издание в мягкой обложке одного и ранних его произведений быстро было подготовлено к печати нашим неплохо приспособляющимся к обстоятельствам Персоном, но затем началось долгое ожидание нового романа, который R. обещал закончить до конца весны. Весна прошла, не принеся результата, и Хью полетел в Швейцарию для личной беседы с ленивым автором. То была его вторая из четырех поездок в Швейцарию.

С Армандой он познакомился в вагоне швейцарского поезда, между Туром и Версе, ослепительно- ярким днем, накануне своей встречи с мистером R. По ошибке Хью сел в медленный поезд, ею выбранный потому, что останавливался на маленькой станции, откуда шел автобус прямо в Витт, где у ее матери было свое шале. Арманда и Хью оказались рядом, друг против друга, на двух креслах у окна, с неизменным видом на озеро. Американское семейство заняло четырехместный отсек через проход от них, Хью развернул *Journal de Genève*.

Ах, какая хорошенькая, и была бы еще лучше, если бы ее губки были чуть полней. Темные глаза, светлые волосы и кожа медового оттенка. Две складочки, на манер молодого месяца, по бокам скорбного рта. На ней был черный костюм и кружевная блузка. На коленях – книга, придерживаемая руками в черных перчатках. Ему показалось, что он узнал мягкую обложку, расцветенную языками пламени и сажей. Сценарий их знакомства был восхитительно банален.

Они обменялись взглядами благовоспитанного неодобрения по поводу трех американских детей, принявшихся вынимать из чемодана брюки и свитера в неистовых поисках чего-то забытого по рассеянности (стопка комиксов, которой теперь завладела, вместе с использованными полотенцами, быстрая гостиничная горничная). Один из двух взрослых, перехватив холодный взгляд Арманды, взглянул в ответ с благодушной беспомощностью. Вошел кондуктор и стал проверять билеты.

Хью обрадовался, подглядев сбоку, что не ошибся: то действительно была книга «Силуэты в золотом окне».

– Одна из наших, – сказал Хью, указав на нее кивком.

Она посмотрела на книгу, лежавшую на коленях, пытаясь найти объяснение его словам. Ее юбка казалась очень короткой.

– Я хочу сказать, что работаю в этом издательстве. Американском издательстве, сначала выпускаем в твердой, потом в мягкой обложке. Вам она нравится?

Она ответила на беглом, но книжном английском, что терпеть не может сюрреалистических романов поэтического толка. Она предпочитала суровую реалистическую манеру, под стать нашему времени. Ей нравились книги о насилии и восточной философии.

– Дальше будет интересней?

– Да, там весьма драматическая сцена на вилле «Ривьера», где

маленькая девочка, дочь рассказчика...

– Джун?

– Да. Джун поджигает свой новый кукольный домик – и вся вилла сгорает дотла; но, боюсь, насилия там нет; все очень символично, на высокий лад, и к тому же трогательно-нежно, как сказано в аннотации или, во всяком случае, было сказано в нашем первом издании. Обложка сделана знаменитым Полом Пламом.

Она дочитает ее, разумеется, до конца, как бы ни было скучно, поскольку всякое дело в жизни должно быть закончено, как строительство той дороги над Виттом, где у них дом – шале со всеми удобствами, прежде приходилось тащиться до фуникулера в Драконите, пока дорога не была построена. «Полыхающее окно», или как там оно называется, было подарено ей только вчера, на ее двадцатитрехлетие, падчерицей автора, о которой, возможно... – Джулия.

Да, они с Джулией обе преподавали минувшей зимой в гимназии для юных иностранок в Тессине. Отчим Джулии только что развелся с ее матерью, – обрпашался он с ней чудовищно. Что они преподавали? А... сценические позы, ритмику, всё в таком роде.

Наш Хью и новый неотразимый персонаж теперь перешли на французский, на котором он говорил еще лучше, чем она по-английски. На ее предложение угадать, кто она, он ответил: голландка или датчанка. Нет, ее отец из Бельгии, архитектор, погибший прошлым летом, руководя работами по сносу знаменитой гостиницы на забытом курорте; ее мать родилась в России, в аристократической семье, но, разумеется, полностью разоренной революцией. Любит ли он свою работу? Не будет ли он возражать, если она чуть-чуть опустит эту черную шторку? Похороны заходящего солнца. Это поговорка? – спросила она. Нет, он придумал это сейчас.

В дневнике, который Хью вел время от времени, он тем же вечером в Версе записал:

«Познакомился с девушкой в поезде. Восхитительные голые загорелые ноги и золотистые сандалии. Неистовое юношеское желание и любовный порыв такой силы, какой никогда прежде не знал. Арманда Шамар. *La particule aurait juré avec la dernière syllabe de mon prénom*[6]. Кажется, у Байрона слово *chamar* употреблено в значении „павлиний веер“ при описании пышного восточного двора. Очаровательно-изысканна и при этом божественно наивна. Шале над Виттом построено отцом. Если будете в наших широтах... Интересовалась, люблю ли я свою работу. Мою работу! „Спроси меня, красавица, – чуть не сказал я, – что я могу делать, а не что я делаю. Нестерпимая красота погребения закатного солнца сквозь полупрозрачную черную шторку. Я могу выучить наизусть целую страницу справочника за две минуты, но не способен запомнить свой телефонный номер. Могу сочинить стихотворную строфу, такую же странную и неожиданную, как ты, такую, какими будут стихи лет через триста, так и не опубликовав ни одной строчки, кроме юношеского вздора, написанного в университете. На теннисных кортах в отцовской школе я научился беспронижительно отражать сокрушительную подачу –

особым образом подрезать мяч, но меня не хватает и на одну игру. С помощью туши и акварели я могу нарисовать озеро головокружительной прозрачности со всеми райскими горами, отраженными в нем, но не могу изобразить лодку, мост или человеческую панику в объятых пламенем окнах виллы, на манер Плама. Преподавал французский в американских школах, но так и не избавился от канадского акцента своей матери, хотя и отчетливо его слышу, произносятся французские слова. Ouvrez la robe, Déjanire[7], чтобы мог я взойти на костер. Могу на фут оторваться от земли и продержаться так десять секунд, но не умею забраться на яблоню. Доктор философии, я не говорю по-немецки. Влюбился в тебя, но не пошевелю и пальцем. Короче говоря, я стопроцентный гений". По совпадению, достойному того, другого, гения, с которым предстоит мне встреча, его падчерица подарила ей ту книгу, что читала сама. Джулия Мур, возможно, забыла, что переспала со мной несколько лет назад. Мать и дочь, заядлые путешественницы, побывавшие и на Кубе, и в Китае, и в других унылых, примитивных краях, отзываются критически, но нежно о многочисленных диковинных, но обворожительных людях, с которыми подружились там. Parlez-moi de son[8] отчима. Он не très fasciste?[9] Не могла понять, почему я называл левацкие убеждения мистера R. расхожей буржуазной модой. Mais au contraire[10], и мать, и дочь души не чают в радикалах! Вообще-то, сказал я, мистеру R. безразлична политика. Моя радость считает, что в этом его беда. Шоколадно-кремовая шея с золотым крестиком и grain de beauté[11]. Стройная, спортивная, разящая наповал!»

10

Он-таки пошевелил пальцем, несмотря на весь этот сентиментальный самоанализ. Он отправил ей записку из внушительного Версе-паласа, куда был приглашен на коктейль, за несколько минут до встречи с нашим замечательным автором, чья лучшая книга Вам не приглянулась. Позвольте мне навестить Вас, скажем, в среду, четвертого числа. Ибо к тому времени я поселюсь в гостинице «Аскот» у Вас в Витте, где, как мне сказали, можно кататься на лыжах даже летом. Между тем смысл его пребывания здесь состоит в выяснении того, когда же наконец старая лиса закончит свою новую книгу. Странно вспоминать, как еще позавчера он предвкушал долгожданное свидание с выдающимся человеком.

И все это было вмиг заслонено дорожным впечатлением. Наблюдая из окна гостиничного холла, как тот выбирается из автомобиля, – никакого трубного гласа, никаких фанфар, сопровождающих славу, – наш Персон теперь целиком был поработан воспоминанием о голоногой девушке в вагоне, пронизанном солнечными лучами. И все же как величественно выглядел R. с его молодцеватым шофером, помогавшим тучному старику с одной стороны, с его чернобородым секретарем – с другой и двумя гостиничными швейцарами, застывшими в пантомиме воображаемой подмоги на ступенях при входе. Газетный репортер,

сидевший в Персоне, обратил внимание на то, что мистер R. носил ботинки цвета кофе с молоком, лимонную рубашку с лиловым шейным платком и мятый серый костюм, ничего не говорящий, по крайней мере, простому американцу. Здравствуйте, Персон! Они уселись в фойе, в баре.

Иллюзорность происходящего усугублялась обликом и речью двух новоявленных персонажей. Монументальный господин с осыпающимся гримом и фальшивой улыбкой и мистер Тамворт с разбойничьей бородой, казалось, разыгрывали, в угоду невидимой аудитории, ходульную сцену, от которой Персон, как кукла, отворачивался, словно его вместе с креслом двигала притаившаяся квартирная хозяйка Шерлока Холмса, какую бы позу Хью ни принимал и куда бы ни смотрел в продолжение их краткого, но хмельного совещания. И правда, все это выглядело как кривлянье и паноптикум с восковыми персонами — по контрасту с реальностью Арманды, чей образ стоял перед его внутренним взором и просвечивал сквозь ярмарочное представление в разных ракурсах, иногда вверх ногами, иногда на самой кромке поля зрения, но уже не покидая его, неизменно правдивый и притягательный. Банальности, которыми он с ней обменивался, сияли подлинностью по сравнению с наигранным весельем в театрализованном баре.

— Вы в отличной форме! — солгал Хью с преувеличенной живостью, после того как заказали выпивку.

У барона R. были грубые черты, желтушный цвет лица, тяжелый нос с расширенными порами, мохнатые воинственные брови, пристальный взгляд и бульдожий рот, полный плохих зубов. Склонность к вычурной изобретательности, столь заметной в его писаниях, проявлялась также в его речевых заготовках, когда, например, он говорил, как сейчас, что отнюдь не «в форме», а чувствует, наоборот, все более навязчивое сходство с киноактером Рубенсоном, некогда игравшим старых гангстеров в фильмах о Флориде; но такого киноактера не существовало.

— И все же как вы себя чувствуете? — спросил Хью, невольно настаивая на своей неловкости.

— В двух кратких словах, — ответил мистер R. (имевший раздражающую манеру не только пользоваться избитыми выражениями в своем будто бы разговорном английском с сильным акцентом, но и перевирать их), — я не слишком хорошо себя чувствовал, знаете ли, этой зимой, моя печень, видите ли, затевает что-то против...

Он сделал большой глоток виски, прополоскав им рот на манер, никогда прежде Персоном не виданный, и очень медленно вернул стакан на низкий столик. Затем, проглотив виски вместе с концом фразы, переключился на свой второй английский стиль, высокопарный стиль своих самых запоминающихся персонажей.

— Бессонница и ее сестра Полиурия мне, разумеется, досаждают, но в остальном я здоров, как племенной бык. Кажется, вы не знакомы с мистером Тамвортом? Персон — то же самое, что Парсон, и Тамворт — то же самое, что тамвортская порода английских крапчатых свиней.

– Нет, – сказал Хью, – моя фамилия произошла не от Парсона, а от Петерсона.

– О'кей, мой мальчик. А как поживает Фил?

Мимоходом обсудили энергию, обаяние и прозорливость издателя.

– Если б только он не требовал, чтобы я писал другие книги. Он требует (перейдя на вкрадчивый хриплый голосок при перечислении названий романов литературного конкурента, также изданных Филом)... он требует «Мальчишку для утех», но согласился бы и на «Стройную потаскуху», а все, что я могу предложить, – это не натуральная порнофигня, а первый и самый обстоятельный том моих «Фигуральностей».

– Уверяю вас, он ждет вашей рукописи с крайним нетерпением. Кстати...

Воистину кстати! Должен же существовать какой-то филологический термин для такого алогичного поворота. Пришедшийся кстати вид сквозь черную ткань шторы. Кстати, я сойду с ума, если не получу ее.

– ...Кстати, вчера я познакомился с девушкой, которая на днях встречалась с вашей падчерицей...

– Бывшей падчерицей, – поправил мистер Р. – Бывшей, знаете ли, и надеюсь, так оно и останется. Еще по одной, мой мальчик (это к бармену).

– Случай весьма удивительный. Девушка читала...

– Прошу прощения, – ласково сказал секретарь, складывая записку, которую только что написал, и протянул ее Хью.

Мистер Р. не выносит упоминаний о мисс Мур и ее матери.

И я его не виню. Но куда делось чувство такта, свойственное нашему Хью? Очарованный Хью прекрасно знал об этих отношениях от Фила, а не от Джулии, доступной, но не болтливой девчонки.

Эта часть просвечивания насквозь довольно скучна, и все же мы должны закончить наше сообщение.

Мистер Р. в один прекрасный день обнаружил, с помощью нанятого соглядатая, что его жена Марион завела интрижку с Кристианом Пайнсом, сыном знаменитого режиссера, снявшего фильм «Золотые окна» (по мотивам лучшего романа нашего писателя). Мистер Р. приветствовал ситуацию, поскольку сам прилежно ухаживал за Джулией Мур, своей восемнадцатилетней падчерицей, и теперь обзавелся планами на будущее, достойными сентиментального сластолюбца, которого три или четыре брака так и не утолили. Однако очень скоро он узнал от того же наемника, умирающего нынче в удушливой и грязной лечебнице на Формозе, что молодой Пайнс, смазливый плейбой с лягушачьими чертами, который тоже вскоре простится с жизнью, был любовником и

матери, и дочери, обслуживая их в Кавальере, штат Калифорния, в течение двух летних сезонов. Следовательно, разрыв оказался куда более болезненным и бесповоротным, чем R. предполагал поначалу. В этой кутерьме наш Персон, на свой мелкий, умеренный лад (хотя в действительности он был на полдюйма выше крупного R.), случайно поживился в уголке того же многонаселенного гобелена.

11

Джулии нравились рослые мужчины с сильными кистями рук и печальными глазами. Хью обратил на нее внимание на вечеринке в одном нью-йоркском доме. Несколько дней спустя он встретил ее у Фила, и она спросила, не хочет ли он посмотреть «Спорнографию» – авангардистскую пьесу, – у них с матерью два билета, но та должна ехать в Вашингтон по юридическим делам (в связи с разводом, как правильно сообразил Хью): не согласится ли он пойти с ней? Авангардистский – это не что иное, как приспособившийся к рискованно-пошлой моде, поэтому, когда поднялся занавес, Хью не был удивлен видом абсолютно голого отшельника, восседавшего на треснувшем унитаза посреди пустынной сцены. Джулия захихикала, предвкушая восхитительный вечер. Растроганный Хью накрыл своей робкой лапой ее детскую ручку, невзначай прикоснувшись к его колену. На взгляд сластолюбца, она была неотразима, с кукольным личиком, слегка скошенными глазами и мочкой уха, сверкающей слезой топаза; возбуждали желание легкие формы под оранжевой блузкой и черной юбкой, тонкие суставы рук и ног, экзотический блеск волос и прямая челка. А еще вдохновляло предположение, что в своем швейцарском убежище мистер R., хваставшийся перед журналистом своим телепатическим даром, не мог не испытывать укол ревности в эту минуту.

Ходили слухи, что пьесу могут запретить после премьеры. Несколько неистовых молодых людей, протестующих против такой возможности, умудрились и впрямь расстроить представление, которое они пришли поддержать. Взрывы праздничных хлопушек наполнили театр едким дымом, вспыхнули так и не размотанные гирлянды розовой и зеленой туалетной бумаги, и зрителей срочно эвакуировали. Джулия заявила, что умирает от разочарования и жажды. Знаменитое бродвейское кафе по соседству с театром оказалось безнадежно переполненным, и в «сиянии и блеске райского упрощения нравов» (как писал R. в другой связи) наш Персон увлек девушку к себе домой. Опрометчиво он спросил себя, после того как слишком страстный поцелуй в такси заставил его пролить несколько пламенных капель нетерпения, – не разочарует ли он ожиданий Джулии, совращенной R., по словам Фила, в тринадцатилетнем возрасте, в самом начале несчастного брака ее матери.

Холостяцкая квартира, которую Хью снимал в восточной части 65-й улицы, была найдена для него издательством. Как оказалось, именно в ней Джулия несколько лет назад навещала одного из лучших своих

любовников. У нее хватило такта промолчать, но призрак того, чья гибель на далекой войне произвела на нее сильное впечатление, выходил из уборной, открывал дверцу холодильника и вмешивался так странно в предстоящую затею, что она отказалась расстегивать крючки и ложиться в постель. Естественно, после некоторой проволоочки капризница сдалась и вскоре стала помогать большому Хью в его неуклюжем натиске. Однако, как только все кончилось, слишком быстро, и Хью с наигранной живостью отправился за выпивкой, образ загорелого Джимми Мейджора с белыми ягодицами опять заслонил убогую действительность. Она заметила, что в ближнем зеркале, при взгляде на него с кровати, отражался тот же натюрморт: апельсины на деревянном блюде, как это было в считанные, как лепестки, обреченные деньки Джима, большого любителя терпких цитрусовых усад. Она огорчилась, когда, приглядевшись, обнаружила причину этой галлюцинации в складках своей яркой блузки, брошенной на спинку стула.

Отменив следующее свидание, Джулия вскоре уехала в Европу. В жизни Персона от этого приключения ничего не осталось – только бледное пятно помады на салфетке и романтическое воспоминание о близости с возлюбленной знаменитого писателя. Время, впрочем, по-своему распорядится этими вещами и еще добавит новую краску к данному эпизоду. Дальше мы видим обрывок газеты La Stampa и пустую бутылку из-под вина. Большую строительную площадку.

12

Большая строительная площадка в окрестностях Витта загромождала и портила склон холма, на котором, как ему сказали, он найдет виллу «Настя». В непосредственной близости от нее кое-что было уже приведено в порядок, формируя островок покоя среди грохочущего и лязгающего пустыря, его бульдозеров и глины. Даже светился модный «бутик» среди лавочек, выстроившихся вокруг площади, в центре которой, под недавно посаженной молодой рябиной, уже успел накопиться мусор – обрывок итальянской газеты и пустая бутылка из-под вина. Персон сбился с пути, но женщина, продававшая яблоки в одной из лавок, подсказала ему дорогу. Большой белый чересчур ласковый пес затеял неприятный обыск, забежав к нему со спины, но был отозван хозяйкой.

Он шел крутой заасфальтированной улочкой, по одной стороне которой тянулась белая стена с верхушками елей и пихт за ней. Решетчатая дверь в стене вела в какой-то лагерь или школу. Крики играющих детей долетали до него, и перелетевший через стену волан приземлился у его ног. Он проигнорировал его, не принадлежа к тому типу людей, что подбирают вещи для незнакомцев: перчатку, прыгающую монету.

Чуть дальше лакуна в каменной стене открыла перед ним лестницу и

вход в беленое бунгало с названием вилла «Настя», написанным курсивом. Как это нередко случалось в прозе Р., «никто не ответил на звонок». Хью заметил еще череду ступеней сбоку от крыльца, сбегających вниз (после всего этого нелепого подъема!), в удушливую тень самшита. Они обогнули дом и привели его в сад. Зашитый досками недостроенный плавательный бассейн примыкал к небольшому лугу, в центре которого дородная дама средних лет, с лоснящимися от крема розовыми воспаленными руками, загорала в шезлонге. Экземпляр, несомненно, тех же самых «Силуэтов» в мягкой обложке, со сложенным письмом (мы подумали, было бы правильно, если бы наш Персон его не узнал) в роли закладки, покоился на закрытом купальнике, в который был втиснут основной объем дамы.

Мадам Шарль Шамар, в девичестве Анастасия Петровна Потапова (весьма почтенная фамилия, которую покойный супруг переименовал в Потапоф), была дочерью богатого скотопромышленника, бежавшего с семьей в Англию из Рязани через Харбин и Цейлон после большевистского переворота. Ей было не впервой развлекать очередного молодого человека, обманутого Армандой в лучших его ожиданиях, но в новом воздыхателе, похожем на коммивояжера, было что-то такое (твой темный гений, Персон!), что озадачило и насторожило мадам Шамар. Ей нравилось, когда люди вписываются в ее представления о должном. Молодой швейцарец, с которым Арманда каталась сейчас на лыжах среди вечных снегов высоко над Виттом, вписывался. Вписывались и близнецы Блейки. А также сын горнолыжного инструктора, золотоволосый Жак, чемпион по бобслею. Но мой нескладный и сумрачный Хью Персон, с его нелепым галстуком, приблизительно подобранным к дешевой белой рубашке и невозможному каштановому костюму, не принадлежал к ее привычному миру. Услышав, что Арманда где-то развлекается и, возможно, не вернется домой к чаю, он не потрудился скрыть неудовольствие и удивление. Стоял, потирая щеку. Изнанка его тирольской шляпы темнела от пота. Получила ли Арманда его письмо?

Мадам Шамар ответила безразлично-отрицательно, хотя могла бы свериться с красноречивой закладкой, но из инстинктивного материнского благоразумия воздержалась. Вместо этого она затолкнула книгу в пляжную сумку. Машинально Хью упомянул о своем визите к автору.

— Он живет, я слышала, где-то здесь, в Швейцарии?

— Да, в Диблоне, около Версе.

— Диблон напоминает мне русское слово «яблоня». Хороший ли у него дом?

— Вообще-то, мы встречались в Версе, в гостинице, а не у него дома. Говорят, что большой и старомодный. Конечно, дом всегда переполнен его, как это сказать, фривольными гостями. Подожду немного и пойду.

Он отказался снять пиджак и сесть в шезлонг рядом с мадам Шамар. Объяснил, что избыток солнца вызывает у него головокружения. «Alors allons dans la maison»[12], — сказала она, прилежно переводя с русского. Видя усилия, предпринимаемые ею, чтобы встать, Хью хотел

прийти на помощь, но мадам Шамар твердо велела ему оставаться на месте, чтобы физическое приближение не оказалось «психологическим барьером». Ее тяжелое тело могло быть поднято одним целенаправленным рывком; чтобы совершить его, надо было сконцентрироваться на попытке обмануть силу тяготения, уловив тот момент, когда что-то включалось внутри и происходил необходимый толчок, наподобие задержанного и разрешившегося взрывом чихания. Она все еще неподвижно полулежала в шезлонге, как в засаде, с испариной на лоснящейся груди и над лиловыми дугами как будто пастелью написанных бровей.

— Сидите, ради бога, — сказал Хью, — я с удовольствием подожду под деревом, в тени, — без тени я пропаду. Никогда не думал, что в горах может быть так жарко.

Но тут все тело мадам Шамар так дернулось, что деревянная рама шезлонга издала почти человеческий крик. В следующее мгновение она приняла сидячее положение, двумя ногами упершись в землю.

— Всё в порядке, — объявила она и поднялась, теперь облаченная в яркую махровую простыню, с внезапностью чудесной метаморфозы. — Пойдемте, я угощу вас холодным напитком и покажу свои альбомы.

Напиток оказался тепловатой водой из-под крана с ложкой домашнего земляничного варенья, слегка им замутненной и поданной в высоком граненом стакане. Альбомы, четыре пухлых тома, лежали на приземистом круглом столике в ультрасовременной гостиной.

— Теперь я оставлю вас на несколько минут, — сказала мадам Шамар и стала тяжело и энергично подниматься у него на глазах по скрипучим ступеням на такой же насквозь просматриваемый второй этаж, где виднелась кровать сквозь приоткрытую дверь и биде — сквозь еще одну. Арманда говорила, что этот поздний образец зодчества ее отца — настоящий шедевр, привлекающий туристов из самых дальних стран, таких как Родезия и Япония.

Альбомы были столь же откровенны, как дом, хотя и не производили такого гнетущего впечатления. Серии с Армандой, исключительно интересовавшие нашего *voyeur malgré lui*[13], открывались фотографией покойного Потапова на восьмом десятке, выглядевшего весьма элегантно, с белесой бородкой клинышком, в китайской домашней блузе, близоруко осенявшего мелким крестным знамением невидимую новорожденную в омуте колыбели. Снимки не только демонстрировали все фазы прошлого Арманды и все достижения любительской фотографии, но и сам ребенок являлся в различных состояниях неприкрытой невинности. Ее родители и тетки, с их неуголимой страстью к идиллическим фотоэтюдам, верили в то, что десятилетняя девочка, мечта создателя Алисы, имеет такое же право на абсолютную наготу, как младенец. Гость соорудил баррикаду из альбомов, чтобы заслонить пламя своего интереса от случайного взгляда с лестничных ступеней, и несколько раз возвращался к снимкам маленькой Арманды в ванне, прижимающей слоноподобную резиновую игрушку к сияющему животу или стоящей вертикально, с ямочками на ягодицах, в ожидании намыливания. Очередное откровение незрелой припухлости (ее срединная линия едва отличима от прямой травинки рядом с ней) было предъявлено на

фотографии, где она, голенькая, сидя на траве, причесывает залитые солнцем волосы, широко раздвинув, в ложной перспективе, стройные ножки великанши.

Он услышал звук спускаемой воды наверху и, виновато вздрогнув, захлопнул толстый альбом. Его подпрыгнувшее к горлу сердце смиренно ретировалось, сердцебиение затихло; но никто не спустился с inferнальных высот, и он опять, тяжело дыша, вернулся к глупым картинкам.

К концу второго альбома фотография обзавелась цветом, чтобы воспеть животрепещущий покров ее подростковой линьки. Она представляла в цветастых платяцах, фасонистых брючках, теннисных шортах, пестрых купальниках, в кричащей зелени и голубизне аляповатой палитры. Он открыл для себя изящную угловатость ее загорелых плеч, длинный изгиб ее бедер. Узнал, что в восемнадцать лет поток ее светлых волос достигал поясницы. Никакая брачная контора не могла предложить своим клиентам такой разработки темы одной отдельно взятой невесты. В третьем альбоме узнал, с радостным чувством возвращения домой, фрагменты окружающей обстановки: лимонно-желтые и черные подушки на диване в дальнем конце комнаты, бабочку махаон, распластанную на планшете из папье-маше на каминной полке. Четвертый, незаконченный, начинался в блеске самых непорочных ее образов: Арманда в розовой нейлоновой куртке, Арманда, лучащаяся, как ювелирное изделие, Арманда, летящая на лыжах в сахарной пудре.

Наконец-то со второго этажа прозрачного коттеджа стала спускаться мадам Шамар, вразвалку, с подрагиванием желеобразной руки, сжимающей перила. Теперь она была одета в летнее платье, перегруженное оборками, словно тоже прошла, как и ее дочь, сквозь серию метаморфоз.

— Сидите, сидите! — воскликнула она, простирая к нему свободную руку, но Хью сказал, что он, пожалуй, пойдет.

— Скажите ей, когда она вернется со своего ледника, что я крайне разочарован. Скажите, что я проживу неделю, две-три недели в унылой гостинице «Аскот», в жалкой деревушке Витт. Скажите, что я ей позвоню, если она не позвонит мне. Скажите ей, — говорил он, давно спускаясь по скользкой тропинке мимо кранов и экскаваторов, застывших в золоте раннего вечера, — скажите ей, что моя жизнь отравлена ею, двадцатью ее сестрами, маленькими ее предшественницами, я погибну, если не получу ее.

В любви он все еще был простаком. Можно было сказать этой вульгарной толстухе мадам Шамар: как вы смеете выставлять напоказ вашего ребенка перед чувствительными незнакомцами? Но наш Персон смутно полагал, что все это — образчик современной нескромности, принятой в среде мадам Шамар. Какой, черт возьми, среде! Мать этой дамы была дочерью сельского ветеринара, так же как и мать Хью (единственное совпадение, ничего, впрочем, не значащее во всей этой грустной истории). Убери свои картинки, безмозглая нудистка!

Она позвонила около полуночи, разбудив его в ложбине мимолетного,

но, несомненно, плохого сна (после этого раскисшего домашнего сыра, молодой картошки и бутылки кислого вина в гостиничном ресторане). Нашаривая рукой трубку, другой рукой он искал очки, без которых, по некоему сговору смежных чувств, не мог как следует говорить по телефону.

– Ю – Персон? – спросил ее голос. Он уже знал, с того момента как она прочла вслух надпись на карточке, которую он дал ей в поезде, что она произносит его имя как английское «вы».

– Да, это я, то есть «Ю», потому что первую букву вы проглатываете самым очаровательным образом.

– Я ничего не проглатываю. Послушайте, я ведь так и не получила ваше...

– Да нет же, получили! Вы проглатываете букву в моем имени, как ребенок льдинки в коктейле.

– Ребенок не пьет коктейлей, он глотает леденцы. Я выиграла. Имейте в виду, завтра я занята, а вот как насчет пятницы? Вы можете встать рано и прийти к семи утра?

Разумеется, он может.

Она пригласила Персика – так она отныне будет называть его, раз ему не нравится «Ю», – отправиться с ней на лыжную прогулку в Дракониту или мрак у скита, как ему послышалось, что и заставило его вообразить избушку в лесу – прибежище для влюбленных. Он сказал, что так и не научился в детстве кататься на лыжах во время каникул в Шугарвуде, штат Вермонт, но будет счастлив шагать рядом с ней по тропинке, не только подsunутой ему воображением, но уже и подметенной заботливой метлой, – один из тех мгновенных и невыверенных образов, которые могут одурачить даже самых умных из нас.

Теперь нам нужно увидеть в фокусе главную улицу Витта, какой она была в четверг, на следующий день после ее звонка. Улица полна прозрачными людьми и случаями из их жизни, в которых мы можем увязнуть с ангельской или авторской старательностью, но нам следует выделить для нашего сообщения только одного Персона. Не слишком большой любитель прогулок, он ограничился ленивым осмотром деревушки. Унылый автомобильный поток шелестел рядом с ним, некоторые из машин с неповоротливой усталостью подыскивали место для парковки, другие возвращались из или направлялись в более модный курорт Тур, в двадцати милях к северу от Витта. Он несколько раз

прошел мимо одряхлевшего источника, струившегося по отороченному геранью желобу, выдолбленному в бревне, осмотрел почту и банк, церковь и туристическое бюро, почерневшую от времени хижину, которой пока позволили уцелеть, с ее капустным огородом и распятием пугала на фоне прачечной и пансиона.

Выпил пиво в двух разных пивных. Задержался перед спортивным магазином, еще немного потоптался и купил серый свитер с черепашьям воротом и маленьким, очень трогательным американским флагом, вышитым на груди, под самым сердцем. «Сделано в Турции», – проболтался ярлычок.

Он подумал, не пора ли еще раз чего-нибудь выпить, и тут увидел ее, сидящую в кафе, под тентом. Кинулся к ней, думая, что она одна; затем заметил, слишком поздно, вторую сумочку на соседнем стуле. В ту же минуту ее спутница вышла из внутреннего зала и, садясь на свое место, произнесла со славным нью-йоркским акцентом и хрипотцой блудницы, которую он узнал бы и в раю:

– Сортир – сущее издевательство.

Тем временем Хью Персон, не в силах сбросить с лица счастливо смеющуюся маску, подошел к столику и был приглашен присоединиться к ним.

Дама за смежным столиком, комически похожая на покойную тетущку Персона Мелиссу, которую мы очень любим, читала l'Erald Tribune. Арманда как чувствовала (в вульгарном смысле этого слова), что Джулия Мур знакома с Персиком. И Джулия не отрицала их знакомства. Не возражал и Хью, ни в коем случае. Не будет ли возражать вылитая копия его тетущки, если он одолжит у нее лишний стул? Ради бога. Добрая душа с пятью кошками, жившая в игрушечном коттедже, в конце березовой аллеи, в тихой части...

Перебив нас оглушительным грохотом, бесстрастная официантка, по-своему тоже несчастная женщина, уронила поднос с пирожными и напитками и присела на корточки, словно рассыпавшись на множество мелких жестов, свойственных ей, меж тем как ее лицо сохраняло скучающее выражение.

Арманда поведала Персику, что Джулия специально приехала из Женева, чтобы обсудить с ней ряд русских фраз, которыми она, Джулия, отправлявшаяся завтра в Москву, хотела «поразить» своих друзей в СССР. Персик прилетел из Штатов ради ее отчима.

– Бывшего отчима, слава богу, – сказала Джулия. – Кстати, Персик, если таков твой европейский псевдоним, ты можешь нам помочь. Арманда права, я хочу произвести впечатление на знакомых в Москве, обещавших свести меня с одним знаменитым молодым советским поэтом. Она научила меня несколькими потрясающим словам, но мы застряли (достала клочок бумаги из сумочки)... я хочу знать, как сказать: «Какая миленькая церквушка, какой здоровенный сугроб». Понимаешь, мы сначала делаем это по-французски, и она думает, что «сугроб» – это rafale de neige, но я уверена, что это не rafale по-французски, не «метла» по-русски,

или как они там называют метель?

– Нужное вам слово, – сказал Персон, – *congère*, женский род, я знаю его от матери.

– Тогда это «сугроб» по-русски, – сказала Арманда и сухо добавила: – Только снега ты в августе там не увидишь.

Джулия рассмеялась. Джулия выглядела счастливой и здоровой. Джулия стала еще миловидней, чем два года назад. Будет ли теперь она мне сниться с этими новыми бровями, длинноволосая? Как быстро сны подстраиваются под новую моду? Сохранится ли в следующем сне ее прежняя прическа японской куклы?

– Позвольте мне для вас что-нибудь заказать, – Сказала Арманда Персику, не подкрепляя, однако, свое предложение жестом, сопровождающим обычно такую фразу.

Персик решил, что хочет чашку горячего шоколада. Бесовский соблазн встретить давнюю страсть на людях! Арманде, разумеется, ничто не угрожает. Она принадлежит к другой категории, вне конкуренции.

Хью вспомнил знаменитую новеллу Р. «Трилистник времени».

– Ты не помнишь, Арманда, какое еще слово мы не могли перевести?

– Мы сидим над этим уже два часа, – сказала Арманда с раздражением, не понимая, судя по всему, что опасаться ей нечего. Соблазн был совершенно другого, чисто интеллектуального или художественного порядка и так подробно исследован в «Трилистнике времени»: некий респектабельный господин в синем, как ночь, смокинге ужинает на освещенной террасе с тремя декольтированными грациями – Алисой, Виолой и Синтией, впервые видящими друг друга. А – его бывшая любовь, В – его нынешняя подруга, С – его будущая жена.

Тут он пожалел, что не заказал кофе, как Арманда или Джулия. Шоколад оказался отвратительным. Вам подавали чашку горячего молока, отдельно – кусочек сахара и нарядно выглядевший пакетик. Отрываете верхнюю кромку пакетика. Добавляете бежевую пыль содержимого к безнадежно однородному молоку в чашке. Делаете глоток и спешите положить сахар. Но никакой сахар не в состоянии улучшить пресный, унылый, недобросовестный вкус.

Арманда, следившая за всеми стадиями удивления и недоверия, улыбнулась и сказала: «Теперь вы знаете, до чего дошел в Швейцарии горячий шоколад. Моя мать, – продолжила она, обращаясь к Джулии, которая с разоблачительной бесцеремонностью общего прошлого (хотя сейчас она гордилась собственной скрытностью) сделала выпад ложечкой в направлении чашки Хью и взяла содержимое на пробу, – моя мать даже расплакалась, когда впервые ей подали эту гадость: видите ли, она с такой нежностью лелеяла воспоминания о горячем шоколаде своего приторного детства».

– Весьма отвратно, – подтвердила Джулия, облизывая полные бледные

губы, – и все же лучше это, чем наш американский сиропчик.

– Вот-вот, ты самое непатриотичное существо на свете, – сказала Арманда.

Очарование прошедшего времени заключалось в его тайне. Зная Джулию, он был более или менее уверен, что она не расскажет швейцарской подруге об их романе – маленьком десерте среди бесчисленного множества блюд. В это драгоценное и хрупкое мгновение он и Джулия (Алиса и герой) заключили соглашение о минувшем, неосязаемый пакт, направленный против реальности, представленной шумным уличным перекрестком с шуршащими автомобилями, деревьями и незнакомцами. Вершину В данного треугольника замещал сам город Витт, тогда как главной незнакомкой – и в этом притаился источник еще одного восторга – была его завтрашняя возлюбленная, Арманда, но Арманда так же не предвидела будущего (которое автор, разумеется, знает во всех деталях), как и не представляла прошлого, чей привкус только что вновь пережил Хью вместе с присыпанным коричневой пудрой молоком. Хью, сентиментальный дурачок и, по правде говоря, не слишком оригинальный человек (оригинальные люди выше таких вещей, он же был всего лишь славным малым), пожалел, что музыка не сопровождала эту сцену: никакого румынского скрипача, надрывающего тебе душу свадебным гимном в честь двух переплетенных монограмм. Не было даже механического подвывания «Влечения» (вальс), льющегося из репродуктора в кафе. И все же присутствовало нечто вроде подспудного ритма, организованного голосами прохожих, позвякиванием посуды и дыханием альпийского ветерка в бесстрастной кроне каштана на углу.

Пора было расходиться. Арманда напомнила ему о завтрашнем свидании. Джулия попрощалась с ним за руку и попросила пожелать ей удачи, когда она обратится к этому страстному, знаменитому поэту со словами *je t'aime* по-русски, что в самозабвенном ее исполнении прозвучало как *yellow blue tibia* (елу-блу- тибья). Они расстались. Девушки сели в элегантный двухместный автомобиль Джулии. Хью пешком направился в гостиницу, но резко остановился, чертыхнулся и пошел назад за забытым свертком.

14

Пятница, утро. Быстрая кока-кола. Отрыжка. Бритье на скорую руку. К обычной одежде добавлен вчерашний свитер. Последнее совещание с зеркалом. Вырвал черный волосок из розовой ноздри.

Первое разочарование поджидало его ровно в семь на месте свидания (площадь перед почтамтом), где он увидел ее в сопровождении трех молодых атлетов: Джека, Джейка и Жака, чьи бронзовые физиономии он уже лицезрел рядом с ней на одной из последних фотографий в четвертом альбоме. Заметив его огорчение по судорожным движениям

кадыка, она весело спросила, уж не передумал ли он присоединиться к ним, «потому что мы хотим пешком добраться до той единственной канатной дороги, что работает летом, и это, имейте в виду, нелегкое восхождение, если нет привычки». Белозубый Жак, приобнимая нашу красавицу, доверительно заметил, что месье неплохо бы надеть более крепкую обувь, но Хью возразил, что в Штатах совершают походы в любых старых башмаках, даже в тапочках. «Мы рассчитываем, – сказала Арманда, – уговорить вас встать на лыжи, наше снаряжение там, наверху, у зрителя, он-то наверняка подберет для вас что-нибудь подходящее. Технику поворотов вы освоите в пять уроков. Не правда ли, Персик? И думаю, вам понадобится теплая куртка: здесь у нас лето, а там, на высоте девяти тысяч футов, холодно, как на полюсе». – «Малышка права», – сказал Жак с театральным восхищением Армандой, потрепав ее по плечу. «Сорокаминутная прогулка, – сказал один из близнецов, – хорошая разминка перед выходом на склон».

Вскоре выяснилось, что Хью за ними не угнаться, тем более не достичь отметки в четыре тысячи футов, чтобы сесть в кабину фуникулера над северной окраиной Витта. Обещанная легкая разминка оказалась чудовищным предприятием, хуже, чем что-либо пережитое на школьных пикниках в Вермонте или Нью-Хемпшире. Тропа то круто взбиралась вверх, то спускалась по скользкому склону вниз, то снова карабкалась на следующую гору, была иссечена старыми колеями, перевита корнями, камениста. Перед потным, несчастным Хью подрагивал белокурый пучок на затылке Арманды, легко поспевавшей за ловким Жаком. Английские близнецы вышагивали в арьергарде. Окажись темп не таким быстрым, Хью, возможно, осилил бы это несложное восхождение, но бессердечные и невнимательные спутники стремились вперед без всякого снисхождения к нему, едва не взбегая по крутым участкам и лихо соскальзывая по спускам, которые Хью одолевал, расставив руки, в позе униженного просителя. Он отказался воспользоваться предложенной ему тростью, но в конце концов, после двадцатиминутной пытки, запросил короткую передышку. К его огорчению, не Арманда, а Джек и Джейк остались с ним, пока он сидел на камне, склонив голову и тяжело дыша; бусина пота свисала с его заострившегося носа. Молчаливые близнецы обменивались красноречивыми взглядами, стоя поодаль от него на тропе, руки в боки. Хью почувствовал, что симпатия к нему тает, и попросил их продолжать путь: он их догонит. Когда они убралась, он немного подождал и заковылял назад, в деревню. В прогалине меж двух лесных массивов он снова передохнул, на этот раз над обрывом, где слепая, но отзывчивая скамья была поставлена перед восхитительным видом. Закурив, он заметил своих спутников высоко над ним, в красном, розовом, сером, голубом, машущих ему с утеса. Он помахал в ответ и продолжил свой мрачный спуск.

Но Хью Персон не сдался. Экипированный по-другому, с альпенштоком, с жевательной резинкой во рту, он присоединился к ним на следующее утро. Попросил их придерживаться своего темпа, нигде его не ждать, и добрался бы до канатной дороги, если бы не заблудился в ежевичных зарослях в конце просеки. Следующая попытка, через день или два, оказалась более успешной. Он почти преодолел лесистую часть склона, но изменилась погода, опустился влажный туман, и он два часа провел в удушливом хлеву, поджидая, когда клубы тумана рассеются и проглянет солнце.

В другой раз он вызвался нести пару ее новых лыж, крокодилово-зеленых, странных, из полиуретана и металла. Их диковинные крепления выглядели как двоюродные братья ортопедических приспособлений, помогающих передвигаться калеке. Ему позволили взвалить на плечи эти драгоценные лыжи, показавшиеся поначалу сказочно легкими, но затем потяжелевшие, как малахитовые бруски, под которыми он шел, пошатываясь, вслед за Армандой, как клоун, меняющий реквизит на цирковой арене. Его освободили от этой ноши, как только он решил передохнуть. Ему предложили в качестве замены картонный пакет с четырьмя апельсинами, но он оттолкнул его от себя.

Наш Персон был упрям и чудовищно влюблен. Сказочное сопротивление своей готической силой препятствовало, казалось, всем его попыткам взять неприступную крепость дракона. На следующей неделе ему это наконец удалось – и он перестал быть обузой.

15

Пока он сидел, потягивая ром, на залитой солнцем террасе Café du Glacier под, подъемником в Драконите и весьма самодовольно разглядывал в алкогольной эйфории горного воздуха лыжную трассу (какое волшебное зрелище после всей этой слякоти и примятой травы!), пока он любовался девственной ее белизной и голубоватым узором в елочку на снегу, разноцветными маленькими фигурками, нанесенными кистью случая на сверкающе-белый фон, как на полотне фламандского мастера, Хью говорил себе, что все это могло бы стать прекрасной обложкой для автобиографии знаменитого лыжника «Записки снежного человека» (тщательно исправленной и переделанной множеством редакционных рук), чью рукопись он недавно вычитывал, проверяя такие термины, как «торможение плугом» и «авальман». Забавно было наблюдать, попивая уже из третьего бокала, за разноцветными маленькими человечками, проносящимися мимо, теряющими здесь лыжу, там палку или победоносно петляющими в облаке серебряной пыли. Хью Персон, теперь переключившись на вишневый ликер, прикидывал, не последовать ли ее увещанию («такой большой симпатичный увалень, такой спортивный янки – и не может скатиться с горы!») и уподобиться тому или этому парню, летящему вниз лихо присев на лыжах, или, наоборот, новичку, обреченному снова и снова разыгрывать после падения пантомиму блаженной и благодушной прострации.

Ему так и не удалось ослепленными, слезящимися глазами высмотреть в этом горнолыжном муравейнике силуэт Арманды. И все-таки однажды он поверил, что ухватил ее взглядом, скользящую и вспыхивающую в огненно-красной куртке, без шапки, мучительно-привлекательную, вот тут, здесь, и уже там, перелетающую через снежный ухаб, все ближе и ближе, ловко пригнувшуюся – и внезапно превратившуюся в незнакомку в лыжных очках.

В этот момент она появилась с другой стороны террасы – в зеленой нейлоновой куртке, с лыжами в руках, в невероятных ботинках. Он провел достаточно много времени в швейцарских спортивных магазинах, изучая лыжное обмундирование, чтобы знать, что на смену кожаной обуви пришел пластик, а шнуры заменены тугими зажимами. «Вы как первая девушка на Луне», – сказал он, показывая на ее ботинки, и если бы они не облегали ногу так плотно, она бы повела пальцами внутри, как делает женщина, когда хвалят ее туфли (смеющиеся пальчики, отзывающиеся на щекотку лъстивых губ).

– Послушай, – сказала она, разглядывая свои Mondstein Sexy (их диковинное название), – я оставляю лыжи здесь, переодену ботинки, и мы вдвоем вернемся в Витт. С Жаком я поссорилась, оставила его с любезными друзьями. С этим, слава богу, покончено.

Сидя напротив него в надмирной колыбели фуникулера, она изложила сравнительно благопристойную версию того, о чем впоследствии поведала ему в отвратительно ярких подробностях. Жак настаивал на ее присутствии при коллективных занятиях онанизмом с близнецами Блейками в их шале. Однажды он уже заставил Джека показать ей свой инструмент, но она возмутилась и потребовала вести себя прилично. А теперь Жак преподнес ей ультиматум: либо она присоединится к их гнусным играм, либо он перестанет быть ее любовником. Она готова быть ультрасовременной социально и сексуально, но это не только вульгарно и оскорбительно, а еще и старо, как Греция и Рим.

Гондола так и скользила бы вечно в голубоватой дымке райского блаженства, если бы здоровяк слугитель не остановил ее перед тем, как навсегда запустить в обратном направлении. Они огляделись. Вокруг ангара, где механизм выполнял свою скромную и бесперебойную работу, стояла весна. Арманда с вежливым «Excuse me» отлучилась на минуту. Коровы паслись вблизи уборной среди одуванчиков. Радиомузыка доносилась из соседнего кафе.

В робком трепете зарождающейся любви Хью спрашивал себя, сможет ли он осмелиться поцеловать ее, уловив подходящий момент во время спуска по петляющей дороге. Он попробует, как только они достигнут рододендровых зарослей, где они остановятся: она, чтобы снять куртку, он – вынуть камешек из правого башмака. Рододендроны и можжевельник уступили место ольхе, и голос знакомой неуверенности начал уговаривать его отложить извлечение камешка и легкий, как бабочка, поцелуй до другого случая. Они вошли в еловый лес, она остановилась, огляделась и сказала так буднично, как будто предложила собирать грибы или малину:

– А сейчас можешь овладеть мной. Я знаю хорошее мшистое местечко, вон за теми деревьями, там никто нам не мешает, если ты сделаешь это быстро.

На мху валялась апельсиновая корка. Он хотел обнять ее в качестве прелюдии, необходимой для его нервной плоти («быстро» было ошибкой), но она по-русалочьи отстранилась и присела на черничный куст, чтобы снять ботинки и брюки. Его неприятно удивила ворсистая ткань толстых

вязанных черных рейтуз, которые она носила под брюками. Она позволила спустить их лишь настолько, насколько это было необходимо. И не дала целовать себя и ласкать ляжки.

— Да, не повезло, — сказала она в конце концов, но когда привстала, чтобы натянуть рейтузы, он вдруг обрел силу сделать то, что от него требовалось.

— А теперь домой, — сказала она своим обычным нейтральным тоном, и они в молчании продолжили свой, уже короткий, спуск.

Со следующим поворотом тропы в поле их зрения возник первый сад Витта, а за ним внизу можно было разглядеть блеск ручья, лесопилку, скошенные луга, коричневые коттеджи.

— Ненавижу Витт, — сказал Хью. — Ненавижу жизнь. Ненавижу себя. Ненавижу эту гадкую старую скамью. — Она остановилась посмотреть в направлении его отчаянного жеста, и он обнял ее. Попыталась увернуться от его губ, но он настоял на своем. Вдруг она сдалась и случилось маленькое чудо: дрожь нежности пробежала по ее лицу, как водная рябь под ветерком. Ее ресницы намокли, плечи сотрясались в его объятиях. Эта минута нежной агонии никогда больше не повторилась, можно сказать, никогда не была дарована ему с такой очевидностью, — до самой гробовой доски; и все же та короткая судорога, в которой она растворилась вместе с солнцем, вишневыми деревьями, прощенным им пейзажем, задавала тон его новому существованию со значением «все прекрасно», несмотря на перемены в ее настроении, глупейшие капризы, грубейшие требования. Этот поцелуй, а не то, что ему предшествовало, стал подлинным началом их романа.

Она молча высвободилась. Длинный выводок школьников, подгоняемых учителем, взбирался по крутой тропе. Один из них вскарабкался на большой соседний камень и спрыгнул с него с радостным визгом.

«Grüss Gott»[14], — сказал учитель, поравнявшись с Армандой и Хью. «Приветик», — отозвался Хью. «Он думает, что ты сумасшедший», — сказала она.

Миновав буковую рощу и пройдя по мостику через ручей, они оказались на окраине Витта. Срезав угол по пыльному склону меж недостроенных шале, вышли к вилле «Настя». На кухне Анастасия Петровна расставляла в вазах цветы. «Мама, иди сюда, — крикнула Арманда по-русски, — я жениха привела!»

вызвала Хью на поединок.

Еще в раннем детстве с его ночными страхами сон давался Хью нелегко. Пытка имела двоякий характер. Приходилось иногда часами задабривать черного истукана ночи механическим воспроизведением одного и того же дневного образа, – но это еще полбеды. Другая половина относилась к полубезумному состоянию, в которое сон ввергал его, когда наконец приходил. Он не мог представить, что у добропорядочных людей бывают такие неприличные и абсурдные кошмары, раздирающие ночь и продолжающие вибрировать в сознании в течение дня. Ни случайные рассказы о дурных снах, услышанные им от друзей, ни фрейдовские сонники с их смехотворным анализом не были похожи на сложную злокозненность его едва ли не еженощных переживаний.

В отрочестве он попытался решить первую часть проблемы изобретательным способом, помогавшим лучше, чем таблетки (слишком слабые давали слабый сон, слишком сильные усиливали яркость чудовищных видений). Способ, открытый им, состоял в воображаемом повторении, с точностью метронома, последовательных телодвижений спортивной игры. Единственной игрой, которую он освоил в детстве и не забыл в свои сорок лет, был теннис. Он не только весьма сносно играл в него с какой-то молодецкой легкостью, перенятой им некогда у Гая, неподражаемого двоюродного брата, тренировавшего учеников в Новой Англии, в школе, директором которой был Персон-старший, но даже изобрел удар, ни воспроизвести, ни отразить который не могли ни Гай, ни еще лучший теннисист – его шурин. Тут было что-то от искусства ради искусства, поскольку удар не подходил для низко летящего или неуклюже пущенного мяча, требовал идеально сбалансированной стойки (в спешке ее нелегко принять) и сам по себе победы в игре не приносил. Трюк Персона выполнялся всей рукой и сочетал пушечный удар с липким подрезанием мяча, сопровождавшим его от соприкосновения с ним до возможного предела. Соприкосновение (и в этом главная тонкость) должно было произойти на самом краю ракетки, на максимальном расстоянии от игрока, далеко отстоящего от отскакивающего мяча и как бы простертого ему вослед. Надо было уметь воспользоваться высоким отскоком, чтобы мяч правильно прилип к неподвижной ракетке, а затем выстрелить «приклеенным» мячом по прямой траектории. Если мяч «прилипал» не так долго, как это требовалось, или если это происходило в центре ракетки, а не в верхней ее части, удар получался весьма заурядным, слабым, закругляющимся галошей, не представляющим, разумеется, никакой трудности для приема; но правильно выполненный, он отзывался упругой отдачей в предплечье – и мяч летел по идеальной прямой в дальний конец поля. Прикоснувшись к земле, он приставал к ней, наподобие того, как приклеивался к струнам ракетки при выполнении удара. Не теряя своей прямолинейной скорости, мяч почти не отрывался от земли; более того, Персон не сомневался, что в результате методичной, самоотверженной тренировки можно заставить его совсем не отскакивать, но с быстротой молнии прокатиться по поверхности корта. Невозможно отбить неотскакивающий мяч, и скорее всего в недалеком будущем такие удары запретят как нечто разрушающее игру. Но даже в нынешней черновой версии он приносил восхитительное удовольствие своему первооткрывателю. Прием такого мяча не удавался самым смехотворным образом, поскольку летящий слишком низко мяч невозможно

было поддеть, тем более правильно отбить. И Гай, и его шурин, тоже Гай, бывали озадачены и раздражены всякий раз, когда Хью ухитрялся выполнить свой «липкий удар», что, к сожалению для него, случалось нечасто. Зато он не объяснял сконфуженным профессионалам, пытавшимся повторить его удар и добивавшимся лишь жалкой подкрутки, что секрет заключается не в подрезании, а в «приклеивании», и даже не в приклеивании, а в точке соприкосновения мяча с ракеткой и еще в решительном выпаде всей руки вслед за мячом. Хью годами лелеял этот удар в своем воображении, даже после того как шансы воспользоваться им сократились до одного или двух раз в случайной игре. (Между прочим, последний раз, когда он его применил, и был тот день в Витте с Армандой, после чего она ушла с корта и ни за что не соглашалась продолжить игру.) Постепенно удар стал выполнять исключительно одну роль средства от бессонницы. В своих еженощных упражнениях перед сном Хью совершенствовал его, ускоряя выполнение (в ответ на быстрый удар противника), и научился воспроизводить его зеркальную левостороннюю версию тыльной стороной ракетки (вместо того чтобы суетиться вокруг мяча, как дурак). Как только он припадал щекой к прохладной, мягкой подушке, знакомая упругая дрожь пробегала по руке – и он ударами пробивал себе дорогу через одну игру за другой. Были дополнительные видения, например интервью снимаемому репортеру: «Надо его сильно подрезать и при этом не запороть»; или выигрыш в блеске славы Кубка Дэвиса с букетом маков, торчащим из него.

Почему же он отказался от этого средства от бессонницы, когда женился на Арманде? Не потому же, что она восприняла его любимый удар как оскорбление и занудство! Не новизна ли общей постели, не присутствие ли другого мозга, работающего рядом, разрушили интимность усыпляющей и врачующей привычки? Возможно. Как бы то ни было, он отказался от нее, убедив себя, что одна-две бессонные ночи в неделю составляли для него безопасную норму, и в остальные ночи ограничивался воспроизведением дневных событий (тоже автоматизм в своем роде), забот и неприятностей рутинной жизни с повторяющимся павлиньим пятном, которое тюремные психиатры называют «занятием сексом».

– Вы сказали, что помимо борьбы с бессонницей испытывали сонный ужас...

Сонный ужас, именно так! Он мог потягаться с лучшими безумцами по части повторения некоторых тем в своих ночных кошмарах. В некоторых случаях он мог вычленив первый черновой набросок со следующими за ним через некоторые интервалы вариантами, изменением мелких деталей, оттачиванием сюжета, введением какой-нибудь новой гнусной ситуации, и все же каждый раз то была перелицовка версии одного и того же несуществующего рассказа. Давайте послушаем гнусную часть. Один эротический сон повторялся с идиотской настойчивостью в течение нескольких лет до и после смерти Арманды. В этом кошмаре, отброшенном психиатром (чудак, сын неизвестного солдата и цыганки) как «слишком прямолинейный», ему подавали спящую красавицу на большом блюде с цветами и набором пенисов на подушке. Они отличались длиной и толщиной, их количество и вариации менялись от сна к сну. Лежали рядком, аккуратно разложенные: в метр длиной, из вулканизированной резины, с лиловой головкой; или в виде толстого

короткого отполированного стержня; или наподобие узкого, как шомпол, инструмента, с чередующимися кольцами сырого мяса, прозрачного сала и т. д., – таковы образцы, взятые наугад. Не имело смысла предпочесть один другому, коралл бронзе или ужасной резине, поскольку что бы он ни выбрал – все меняло форму и размер и не могло быть правильно приложено к его анатомии, отваливаясь в момент воспламенения или переламываясь надвое меж ног или тазобедренных костей более или менее разлагающейся дамы. Со всем неистовым антифрейдистским пафосом он хотел бы подчеркнуть следующее: эти подкорковые пытки ни прямо, ни «символическим образом» не были связаны с чем-либо испытанным им в сознательной жизни. Эротический мотив был лишь один из многих, так же как «Мальчишка для утех» оставался только побочной выходкой по отношению к остальному творчеству глубокого, слишком глубокого, писателя, выведенного в недавно вышедшем романе R.

В другом, не менее зловещем ночном переживании он видел себя пытающимся остановить или отклонить поток песчинок или мелких камешков на пути к провалу в материи времени, но был при этом всячески опутан паутинными, нитевидными, лучистыми узами, засыпан хрупкими обломками рассыпающихся колоссов. В конце концов он оказывался погребен под кучей мусора – это и была смерть. Менее пугающими, но, возможно, подвергающими человеческий мозг еще большей опасности были «лавинные кошмары» в момент панического пробуждения, когда их образы превращались в движение словесного селя в долинах Сна и Одеяла, чьи серые окатанные камни, *Roshes étonnées*, прозванные так за словно обескураженную и улыбающуюся поверхность, были отмечены черными «очками» (*écarquillages*[15]). Спящий – это идиот, не лишенный животной хитрости; роковой изъян работы его разума соответствует бормотанию, производимому скороговоркой вроде «Шла Саша по шоссе».

Ему сказали, что напрасно он не обратился к своему психоаналитику, когда кошмары участились. Он отвечал, что таковым не располагает. Врач терпеливо объяснил, что пользуется местоимением не в притяжательном значении, а в домашнем смысле, как, например, в рекламном объявлении: спросите у вашего бакалейщика. Консультировалась ли Арманда у психоаналитика? Если речь идет о миссис Персон, а не о ребенке или кошке, то ответ отрицательный. В юности она интересовалась необуддизмом и тому подобными вещами, но в Америке новые друзья рекомендовали ей то, что вы зовете сеансами психоанализа, она же говорила, что, возможно, попробует, но лишь после того, как разберется со своими восточными увлечениями.

Ему пояснили, что называют ее по имени только из желания создать неформальную атмосферу. Так принято. Не далее как вчера другому заключенному легчало после слов: «Расскажи-ка дяде свои сны, иначе тебе крышка». Знакомы ли Хью, или, если угодно, мистеру Персону, «разрушительные устремления» во сне – вопрос был не вполне понятен. Терминология нуждалась в уточнении. Скульптор может сублимировать свои разрушительные устремления, бросаясь на неодушевленный объект с резцом и молотком. Клиническая хирургия предлагает один из самых действенных способов избавления от разрушительных тенденций: уважаемый, но не всегда удачливый врач признался по секрету, как

трудно ему порой удержаться и не оттяпать всякий орган, который он видит во время операции. У всех имеется подспудное напряжение, накапливающееся с детства. Стесняться не надо. В сущности, при половом созревании сексуальность приходит на смену потребности убивать, которая нормально реализуется в сновидениях; а бессонница — это только боязнь осознать во сне свое подсознательное желание секса и насилия. Около восьмидесяти процентов всех снов у взрослых мужчин — сексуальны. Загляните в монографию Клариссы Дарк, лично обследовавшей около двухсот завсегдатаев узилищ, чьи сроки несомненно сократились на количество ночей, проведенных ею в тюремном дортуаре. Так вот, у ста семидесяти восьми мужчин наблюдалась мощно выраженная эрекция в фазе сна БВЗ (быстрое вращение зрачка), отмеченной видениями, вызывающими похотливое закатывание глазного яблока, сродни выражению «строить глазки». Да, кстати, когда мистер Персон начал ненавидеть миссис Персон? Молчание. Может быть, ненависть была частью его чувства к ней с первого взгляда? Молчание. Не покупал ли он ей свитер с высоким воротом? Молчание. Не был ли он раздосадован, когда она нашла, что ворот слишком сдавливает шею?

— Меня сейчас вытошнит, — сказал Хью, — я сыт по горло всей этой вашей гнусной мерзостью.

17

А сейчас поговорим о любви.

Какие заветные слова, какие молнии хранятся в складках и тайниках нашего сердца, под его мускулистой броней, своей расцветкой напоминающей узор соседних скал! Но когда Хью Персон пытался выразить свою любовь в дни недолгого ухаживания и совместной жизни, он не знал, где найти слова, которые убедят, растрогают, вызовут ослепительно яркие слезы в ее безжалостных глазах. И наоборот, то, что слетало с его языка случайно, вне расчета на сочувствие и поэзию, какая-нибудь проходная фраза вызывала истерически-счастливую реакцию у этой рассудочной, в сущности несчастливой, женщины. Сознательные попытки терпели неудачу. Например, когда в какой-нибудь скучнейший час, без малейшего сексуального поползновения, он прерывал свои занятия, чтобы войти к ней в комнату и проползти на четвереньках, как экзотический, не описанный наукой, спустившийся с дерева ленивец, скулящий от обожания, равнодушная Арманда приказывала ему встать и прекратить валять дурака. Самые пылкие прозвища, которые он мог изобрести — мое безумие, госпожа моя, мое божество, моя собака, мой роскошный зверь, — лишь раздражали ее. «Почему, — спрашивала она, — ты не умеешь говорить со мной по-человечески, как джентльмен говорит с дамой, почему ты паясничаешь и не хочешь быть серьезным, простым, чтобы я могла тебе поверить?» Но любовь, объяснял он, ведь это самая невероятная вещь, реальная жизнь

смехотворна, простой люд смеется над любовью. Он пытался поцеловать край ее юбки, прикусить складку на ее брюках, лодыжку, большой палец безразлично отдергиваемой ноги – и пока он пресмыкался, а его неблагозвучный голос издавал сентиментальный любовный лепет и безрассудную ерунду, внятную ему одному, простое любовное признание становилось пародийным птичьим представлением, разыгранным одиноким самцом в отсутствие самки: длинная шея вытянулась, затем изогнулась, клюв опустил, шея распрямилась вновь. Все это заставляло его устыдиться самого себя, но он не мог остановиться, а она – понять его, ибо в такие моменты он не умел подобрать нужное слово, попасть клювом в червяка.

Он любил, несмотря на ее непригодность для любви. Арманда обладала множеством озадачивающих, хотя и не обязательно редких черт, каждую из которых он принимал как нелепую подсказку к заумной головоломке. Она называла мать скотиной, не понимая, разумеется, что больше не увидит ее после переезда с Хью в Нью-Йорк и смерти матери. Обожала устраивать тщательно подготовленные вечеринки, и вне зависимости от того, как давно состоялся тот или иной изысканный прием (десять, пятнадцать месяцев тому назад или еще раньше, до ее свадьбы, в Брюсселе или Витте), каждый из них и гвоздь их программы навеки запечатлевались в морозной атмосфере ее педантичного ума. Задним числом эти soirées рисовались ей как звезды на колышущейся завесе прошлого, а гости оказывались продолжением ее собственного «я»: лелеемые образы, которые с тех пор следовало рассматривать с сентиментальной почтительностью. Если Джулия или Джун, например, замечали, что не знакомы с театральным критиком С. (двоюродным братом покойного Шарля Шамара), тогда как и та и другая были участницами некой вечеринки, как это сохранилось в памяти Арманды, она могла гневно возразить, обрушивая на них свое презрение и по-змеиному извиваясь: «В таком случае вы наверняка забыли и те маленькие сандвичи от Père Igor (специальный магазин), которые вам так понравились». Хью никогда не встречал такого скверного характера, такого болезненного самолюбия, такого эгоцентризма. Джулия, катавшаяся с ней на лыжах и коньках, считала ее душкой, но остальные женщины относились к ней критически и, болтая по телефону, пародировали ее манеру и жалкие уловки при нападении и защите. Если кто-то говорил: «Незадолго до того, как я сломала ногу...» – она торжествующе перебивала: «А я ломала в детстве обе!» По какой-то непонятной причине она прибегала к ироническому и по большей части недовольному тону, когда на людях обращалась к мужу.

И какие странные причуды! Во время медового месяца, в последнюю ночь их пребывания в Стрезе (нью-йоркское издательство требовало его возвращения), она решила, что последние ночи статистически самые опасные в гостиницах, не имеющих пожарных лестниц, а их отель и впрямь выглядел пожароопасным на монументальный допотопный манер. Почему-то телевизионные режиссеры полагают, что нет ничего фотогеничнее и увлекательнее, чем хороший пожар. Однажды Арманда была напугана или делала вид, что напугана (любила привлекать к себе внимание), одной такой катастрофой на местном экране в программе итальянских теленовостей: маленькие язычки пламени, как слаломные флажки, большие языки, как прожорливые демоны, рассеченные кривыми струями воды, наподобие барочных фонтанов, и отважные пожарники в

блестящих клеенчатых комбинезонах, поглощенные своим суетливым делом посреди фантазмагории дыма и разрушения. Той ночью в Стрезе она настаивала на репетиции (он в трусах, она в чудо-юдо пижаме) акробатической эвакуации в ненастную тьму посредством спуска по перегруженному лепниной фасадом гостиницы с четвертого этажа на второй и затем на пробежке по крыше галереи под возмущенно шумящими кронами. Напрасно Хью спорил с ней. Неугомонная Арманда утверждала с авторитетом опытного скалолаза, что это можно сделать, используя углубления в изощренном орнаменте декора, щедрые выступы и перила балкончиков, предоставлявшие свои услуги для осторожного спуска. Она велела следовать за ней и светить сверху фонариком. Так или иначе, от него требовалось быть рядом, чтобы прийти на помощь в случае необходимости, придерживать ее на весу, тем самым увеличивая ее маневренность, пока она нащупывала следующий выступ большим пальцем голый ноги.

Несмотря на силу своих рук, Хью был далеко не приспособленным к атлетике двуногим. Он запорол свой номер, застрял на карнизе под их балконом. Фонарик беспорядочно выхватывал из тьмы части фасада и затем выскользнул из рук. Он взывал со своего насеста, умоляя ее вернуться. Под его ногами резко открылся ставень. Хью ухитрился вскарабкаться обратно на свой балкон, продолжая выкрикивать ее имя в полной уверенности, что она погибла. В конце концов она нашлась в номере на третьем этаже, где он обнаружил ее, завернутую в одеяло, безмятежно курящую возле кровати незнакомца, сидевшего рядом с ней на стуле и при появлении Хью уставившегося в журнал.

Ее сексуальные игры обескураживали и огорчали его. Он мирился с ними во время свадебного путешествия. Но они стали их привычной практикой и по водворении строптивой новобрачной в нью-йоркскую квартиру. Арманда постановила, что им следует регулярно заниматься любовью во время ланча, в гостиной, как на воображаемой сцене, под неумолчный аккомпанемент легкой болтовни: оба партнера одеты безукоризненно, он – в своем лучшем деловом костюме, галстук в горошек, она – в строгом черном платье с высоким воротом. В качестве уступки природе нижнее белье могло быть раздвинуто, даже расстегнуто, но только очень, очень пристойно, без малейшей заминки в изящном обмене светскими новостями: нетерпение считалось чем-то неподобающим, оголение – чудовищным. Газета или книга, взятая с кофейного столика, маскировала приготовления, без которых он не мог обойтись, бедняга Хью, и горе ему, если он хмурился или проявлял неловкость в решающую минуту; но куда хуже, чем ужасное стягивание длинного исподнего с резинкой, впивающейся в пах, или соприкосновение с ее жесткими, как чешуя, чулками, было требование одновременной непринужденной беседы о знакомых, политике, знаках зодиака, прислуге, со строгим запретом на спешку: подспудной работе надлежало быть выполненной исподтишка, до самого конца – в скрюченном, полусидячем положении на неудобном диванчике. Посредственная потенция Хью, возможно, не выдержала бы такого испытания, если бы Арманде удавалось тщательнее, чем она надеялась, скрыть возбуждение, извлекаемое ею из контраста между фантазией и действительностью, контраста, который в конечном счете свидетельствует о художественной утонченности, если вспомнить обычаи некоторых восточных народов – полных неучей во многих других отношениях. Его главная опора заключалась в ни разу не обманутом

предвкушении расплывшегося восторга, мало-помалу оглуплявшего ее драгоценные черты, вопреки ее усилиям поддерживать связный разговор. В некотором роде он предпочитал декорации гостиниой еще менее нормальной обстановке в тех нечастых случаях, когда она желала, чтобы он обладал ею в постели, под одеялом, пока она звонила по телефону, сплетничая с приятельницей или кокетничая с незнакомым ему типом. Способность нашего Персона выносить все это, находить разумное объяснение и т. д. располагает нас к нему, но также временами, увы, вызывает нескрываемую усмешку. Например, он сказал себе, что она отказывалась раздеваться, стесняясь маленьких девчоночьих грудей и шрама на бедре – горнолыжной травмы. Персон, ты дурак!

Была ли она верна ему в течение тех немногих месяцев, что им суждено было прожить в доверчивой, терпимой, веселой Америке? В их первую и последнюю совместную зиму она ездила несколько раз без него кататься на лыжах в Аваль (провинция Квебек) и в Чут (штат Колорадо). Оставаясь дома, он запретил себе думать о таких банальностях, как об измене: держать за руку другого мужчину или позволить ему поцеловать себя на прощание. Эти банальности вообразить ему было так же мучительно, как представить сладострастное соитие. В ее отсутствие железный люк в преисподнюю оставался закрытым, но стоило ей вернуться (лицо загорелое и сияющее, стан стройный, как у стюардессы, синее пальто с яркими плоскими пуговицами, наподобие золотых монет), как разверзалась бездна – и чертова дюжина ладных молодцов начинала суесться вокруг нее, рвать ее на части в мотелях и закоулках его души, хотя в действительности, как нам доподлинно известно, она сходилась всего лишь с двенадцатью заправскими любовниками на протяжении этих трех своих поездок.

Никто, и менее всех ее мать, не понимал, почему Арманда вышла замуж за ничем не замечательного американца с не слишком надежной работой, однако нам пора заканчивать этот разговор о любви.

18

Во вторую неделю февраля, примерно за месяц до того, как смерть разлучила их, Персоны полетели в Европу: Арманда навестить свою мать, умирающую в бельгийской больнице (примерная дочь опоздала), а Хью, по заданию издательства, – провести мистера R. и другого американского писателя, тоже поселившегося в Швейцарии.

Дождь лил как из ведра, когда он вышел из такси перед большим, старым и безобразным загородным домом R., стоящим над Версе. Прошел по выстланной гравием дорожке меж ручьями пузырящейся воды, бегущими по обеим ее сторонам. Входная дверь была приоткрыта, и, ступив на коврик, он с радостным удивлением увидел Джулию Мур, стоящую спиной к нему у телефонного столика в прихожей. Она опять завела

соблазнительную прическу средневекового паж, и на ней вновь была оранжевая блузка. Он кончил вытирать ноги, когда она положила трубку, – и тут выяснилось, что это совсем другая девушка.

– Простите, что заставила вас ждать, – сказала она, обратив к нему улыбающийся взгляд. – Я заменяю мистера Тамворта, он проводит отпуск в Марокко.

Хью был приглашен в библиотеку, хорошо обставленную, но определенно старомодную и плохо освещенную, наполненную энциклопедиями, словарями, справочниками, авторскими экземплярами книг в многочисленных изданиях и переводах. Он сел в кресло и достал из портфеля список вопросов для обсуждения. Два основных сводились к тому, как замаскировать нескольких уж слишком узнаваемых личностей в рукописи «Фигуральностей» и что делать с этим коммерчески непригодным названием.

И тут вошел Р. Щеки его заросли трех-четырёх-дневной щетиной, одет он был в нелепый комбинезон, удобный, как он считал, для размещения профессиональных принадлежностей: карандашей, шариковых ручек, трех пар очков, карточек, аптекарских резинок к ним, канцелярских скрепок и жала остроумия, которое после нескольких приветственных слов он направил на нашего Персона.

– Могу лишь повторить, – сказал он, усевшись в кресло, освобожденное для него Персоном, и указывая ему на такое же напротив, – то, что говорил уже не раз, а многократно: можно заменить одного кота на другого, но нельзя изменить моих героев. Что же до названия, синонимически равнозначного слову «метафора», – никаким степным кобылам не вытащить его из-под меня. Мой врач рекомендовал Тамворту запереть от меня винный погреб, что тот и сделал, спрятав ключ, который слесарь сможет продублировать только к понедельнику, а я, знаете ли, слишком избалован, чтобы покупать дешевые вина, продающиеся в деревне, так что все, что могу вам предложить, – вы мотаете головой, заранее и абсолютно правы, мой мальчик, – банку консервированного абрикосового сока! Теперь позвольте мне сказать еще несколько слов о заглавии и клевете в литературе. Видите ли, это письмецо, что вы мне написали, раззадорило меня. Мне возбраняется прикасаться к второсортным типам, но мои второстепенные персонажи поистине неприкасаемы, если позволите поиграть словами.

И он стал объяснять, что если истинный художник решил нарисовать персонаж на основе реального человека, любая переделка с целью камуфляжа равнозначна умерщвлению живого прототипа, наподобие того, знаете ли, как протыкается булавкой маленькая глиняная кукла – и соседская девушка падает замертво. Если книга поистине художественная, если это вино, а не вода, тогда она неуязвима в одном смысле и ужасно беззащитна в другом. Беззащитна, поскольку писатель, уступая кроткому редактору и заменяя стройную на полную или шатенку на блондинку, искажает как облик, так и нишу, его вмещающую, и всю часовню заодно; а неуязвима потому, что, как бы радикально вы ни изменили образ, его прототип все равно будет узнаваем по контуру прорехи, оставленной им в повествовательной ткани. И, кроме того, индивиды, в изображении которых его обвиняют,

слишком высокомерны, чтобы признать свое присутствие в романе и обнаружить недовольство. И то сказать, их весьма устраивают сплетни на их счет в литературных салонах, они и сами будут внимать им avec un air savant[16], как говорят французы.

Проблема заглавия – «Фигуральности» – совсем из другой оперы. Читателям невдомек, что существуют два типа заглавия. Первый – название, подобранное автором–глупцом или умницей издателем уже после того, как книга написана. Это не более чем ярлык, приклеенный на соплях и прижатый кулаком. Большая часть худших наших бестселлеров может похвастаться такого рода названиями. Но есть и второй: заглавие, просвечивающее сквозь книгу как водяной знак, рожденное вместе с книгой, автор так привык к нему по мере накопления исписанных страниц, что оно представляет за каждую из них. Нет, мистер R. не может поступиться «Фигуральностями».

Хью осмелился заметить, что читатель увидит в них фигу.

– Невежды! – прокричал мистер R.

Джулияподобная секретарша вбежала и объявила, что ему нельзя нервничать и перевозбуждаться. Великий человек с усилием поднялся, давая понять, что аудиенция окончена; трясясь и осклабясь, протянул Персону большую волосатую пятерню.

– Хорошо, – сказал Хью, – я, разумеется, передам Филу, как вы бескомпромиссны в отношении этих вопросов. До свидания, сэр, вы получите образец суперобложки на следующей неделе.

– До свидания, мой мальчик, надеюсь, достаточно скорого.

19

Мы снова в Нью-Йорке, и это их последний совместный вечер. Приготовив для них превосходный ужин (чуть дороговатый, возможно, но не слишком обильный, – ни она, ни он не были гурманами), полная Полина, горничная, которую они делили с бельгийским скульптором, жившим в роскошных апартаментах этажом выше, вымыла посуду и ушла в положенный час (девять пятнадцать или около того). Поскольку у нее была раздражающая привычка присесть на минуту перед телевизором, Арманда не включала его до ее ухода. Теперь она включила его, дала ему немного пожить, сменила канал и уничтожила картинку, фыркнув с отвращением (ее симпатии и антипатии в этих делах были лишены всякой логики, она могла страстно привязаться к одной или двум программам, а затем не прикасаться к ящику неделю, словно наказывая чудесное изобретение за проступок, известный только ей, Хью же предпочитал игнорировать ее непонятные размолвки с актерами и комментаторами). Она уже открыла книгу, но тут позвонила жена Фила пригласить ее на

завтрашний просмотр лесбийской пьесы с актрисами-лесбиянками. Разговор их длился минут двадцать пять, Арманда пускала в ход доверительные интонации, а Филис говорила так громко, что Хью, сидевший за круглым столом с корректурой, мог бы слышать, если бы пожелал, обе стороны банальной переключки. Вместо этого он удовлетворился пересказом, которым Арманда угостила его, вернувшись на кушетку из серого плюша у фальшивого камина. Так случилось и раньше около десяти: внезапно сверху раздавалась резкая череда стука и скрежета – этот кретин опять тащил неуклюжую махину невидимой скульптуры, обозначенной в каталоге как «Полина без форм», из центра студии в тот угол, где она ночевала. В качестве неизбежной реакции Арманда уставилась на потолок и заметила, что, если бы сосед не был столь дружелюбен и услужлив, она бы давно пожаловалась двоюродному брату Фила (управляющему этого многоквартирного дома). Когда шум стих, она стала искать книгу, которую держала в руках перед тем, как зазвонил телефон. Ее муж всякий раз испытывал прилив особой нежности, примирявшей с беспросветной или жестокой сущностью того, к чему не очень счастливые люди применяют формулу «такова жизнь», испытывал всякий раз, как замечал в аккуратной, деловой, педантичной Арманде красоту и беспомощность человеческой рассеянности. Вот он нашел предмет ее жалких поисков (на журнальной полке под телефоном), и, пока протягивал ей книгу, ему было позволено коснуться благоговейными устами ее виска и белокурой прядки. Затем он вернулся к корректуре «Фигуральностей», а она – к своей книге, оказавшейся французским туристическим справочником, предлагавшим множество роскошных ресторанов, рекомендованных и одобренных, но недостаточный выбор «уютных, тихих, удачно расположенных» гостиниц, отмеченных тремя и более звездочками, а иногда и маленькой эмблемой с красной птичкой на ветке.

– Смешное совпадение, – сказал Хью. – Один из его героев в весьма похабном пассаже, кстати, как пишется «гондола»?

– В чем же совпадение?

– Один из его героев, заглянув в путеводитель, говорит, как берут за живое слова «гондола не резиновая» и «поезд из Пизы».

– Пишется через «о», – сказала Арманда и дважды зевнула, сперва сдерживая зевок, а потом в открытую. – Не знаю, отчего я так устала. Только все эти зевки отгоняют сон. Пожалуй, приму сегодня новые таблетки.

– Попробуй вообразить, что ты скользишь на лыжах по очень гладкому склону. Я, например, в юности представлял себя играющим в теннис, и это часто срабатывало, особенно с новенькими белыми мячами.

Еще какое-то время она продолжала сидеть с потерянным видом, а затем с быстротой молнии пересекла комнату, ринувшись на кухню за стаканом.

Хью любил читать корректуру дважды, сначала в поисках опечаток, а затем ради достоинств текста. Он считал, что получается лучше, когда зрительный контроль предшествует умственной усладе. Теперь он

предался последней, но, и не следя за ошибками, время от времени находил пропущенный ляп, свой или типографский. Он также с величайшей осторожностью позволял себе на полях второго экземпляра, предназначенного для автора, усомниться в некоторых шероховатостях стиля и правописания, надеясь на понимание, что не великий человек подвергается сомнению, а его грамматика.

После долгих обсуждений с Филом было решено ничего не предпринимать, пойти на риск осуждения за клевету, связанную с откровенным описанием запутанной любовной жизни автора. R. «оплатил это некогда одиночеством и раскаянием и теперь готов был расплатиться звонкой монетой с любым задетым им дураком» (сокращенная и упрощенная цитата из его последнего письма). В пространной главе куда более рискованного свойства (несмотря на высокопарный стиль), чем жалкие откровения модных беллетристов, которых он порицал, R. вывел мать и дочь, ублажающих молодого любовника изощренными ласками на высокогорном уступе над живописной пропастью и в других, менее головокружительных местах. Хью не был так коротко знаком с миссис R., чтобы оценить ее сходство с матроной из романа (отвислая грудь, рыхлые бедра, стоны во время совокупления, напоминающие самца енота, и т. д.); но дочь повадками, жестикуляцией, придушенной манерой речи и многими другими чертами, которые, хотя он и помнил их неотчетливо, была похожа, конечно, на Джулию, даром что автор сделал ее светловолосой и приглушил азиатскую прелесть ее красоты. Читал он увлеченно и сосредоточенно, но сквозь прозрачно струившуюся повествовательную ткань еще и помечал ошибки в корректуре (там – неверная буква, здесь – набрать курсивом), при этом его зрение и позвоночник (главный орган настоящего читателя) сотрудничали, а не мешали друг другу. Иногда он спрашивал себя, что, в сущности, значит данная фраза и как выглядит «фаллосоподобная слива» (не лучше ли заменить ее на грушу) и не следует ли в слове «вагиновидный» после «г» вместо «и» поставить «о». Словарь, которым он пользовался дома, намного уступал большому потрепанному редакционному, и теперь Хью был озадачен такими перлами, как «все золото Гинкго» или «песочно-бурая немейская шкура». Возникло сомнение по поводу имени эпизодического персонажа Адам фон Либриков: если это немец, то частицу «фон» нельзя писать через «в», и в любом случае ее трудно примирить с русским окончанием фамилии. А что если это хитрая анаграмма? В конце концов он зачеркнул свое замечание на полях, зато восстановил «правление Кнуда»[17] в другом абзаце: менее проницательный корректор, поработавший до него (как Арманда, славянского происхождения), предлагал заменить «д» на «т» и писать слово с маленькой буквы.

Въедливый читатель Персон не был абсолютно уверен, что одобряет роскошный и не вполне законный стиль, и все же в лучшие моменты («пепельная радуга затравленной туманом луны») R. был чертовски выразителен. Хью поймал себя на том, что пытается определить на основе художественного вымысла, в каком возрасте и при каких обстоятельствах писатель совратил Джулию: в ее ли детстве, щекоча ее в ванной, целуя мокрые плечи, а затем в один прекрасный день завернутую в большое полотенце понес в свою берлогу, как об этом восхитительно поведано в романе? Или он начал заигрывать с ней в ее первый университетский год, когда читал в огромной студенческой

аудитории за вознаграждение в две тысячи долларов один из своих рассказов, изданный и переизданный, но и в самом деле замечательный? Как хорошо иметь дарование такого рода!

20

Начало двенадцатого. Он выключил свет в гостиной и открыл окно. Ветреная мартовская ночь нашла, что потрогать пальцами в комнате. Неоновая вывеска DOPPLER при взгляде на нее сквозь занавеску меняла тон на фиолетовый (эффект Допплера, как сказал бы R.), освещая мертвенно-бледные листы корректуры, оставленной им на столе.

Он дал глазам привыкнуть к темноте соседней комнаты и тихонько в нее вошел. Ее первый сон обычно сопровождался порывами храпа. Нельзя было не подивиться, как такая стройная и изящная женщина могла выделять столь раскатистые рулады. В начале их совместной жизни Хью боялся, что так будет продолжаться всю ночь. Но что-нибудь: внешний шум, толчок во сне или тихое покашливание смиренного мужа – заставляло ее пошевелиться, вздохнуть, чмокнуть губами, повернуться на другой бок, после чего она продолжала спать беззвучно. Эта перемена ритма, по-видимому, произошла, пока он сидел за корректурой; и теперь, во избежание повторения всего цикла, Хью постарался раздеться как можно тише. Позднее он вспоминал, что очень осторожно выдвинул скрипучий ящик (его стон в другое время суток он не замечал), чтобы достать чистые трусы, которые надевал вместо пижамы. Выругался про себя на дурацкую жалобу старого дерева и решил не задвигать ящик назад; но половицы пришли на смену ящику, как только он стал подходить к своей стороне двуспальной кровати. Разбудило ли это ее? Да, отчасти или по крайней мере проделало дырочку в ее сне, и она пробормотала что-то о ярком свете. В действительности лишь косой фиолетовый луч пробивался во тьму из гостиной, дверь в которую он оставил приоткрытой. Он поспешил закрыть ее, продвигаясь ощупью к кровати.

Какое-то время он прислушивался к другому цепкому слабенькому звуку – стуку капель о линолеум под протекающей батареей. Вы сказали, что приготовились к бессонной ночи? Не совсем так. В действительности он хотел спать и не чувствовал нужды в пугающе-действенном новом снотворном, к которому изредка прибегал; но, несмотря на сонливость, осознавал, что множество тревог только и ждут подходящего момента, чтобы броситься на него. Каких таких тревог? Обычных, ничего серьезного, ничего особенного. Лежал на спине, поджидая, пока они сгруппируются, что они и сделали вкупе с бледными бликами, спешащими занять свое привычное положение на потолке, пока его глаза привыкали к темноте. Думал, что его жена опять изображает женское нездоровье, чтобы не подпускать его к себе; что она, возможно, обманывает его множеством других способов; что он тоже предал ее в некотором смысле, скрыв от нее ночь, проведенную с другой девушкой до их

свадьбы, если говорить в терминах времени; если в терминах пространства, то в той же комнате; что готовить чужие книги для публикации – унижительная работа; но что никакая беспросветная поденщина или временное разочарование не имеют значения перед лицом всегда растущей, все более нежной любви к жене; что он должен проконсультироваться с офтальмологом в следующем несяце. Он заменил на «м» неверную букву и продолжал вычитывать пеструю корректуру, которой теперь обернулась тьма закрытых глаз. Сдвоенное сокращение сердечной мышцы вытолкнуло его из забвения, и он пообещал своему испуганному «я» сократить дневную норму сигарет ради восстановления правильного ритма прозы.

– А затем вы отключились?

– Да. Возможно, я все еще старался различить смутную линию строки набора... но, вы правы, я спал.

– Полагаю, беспокойно?

– Нет, напротив, мой сон никогда не был так глубок. Предыдущей ночью я спал не больше нескольких минут.

– О'кей. Теперь мне хотелось бы знать, известно ли вам, что психиатры, работающие в знаменитых тюрьмах, изучали, помимо всего прочего, и тот раздел танатоведения, что занимается способами и методами насильственной смерти?

Персон устало и отрицательно промычал.

– Так вот, позвольте мне предложить такую формулировку: полиции хотелось бы знать, каким орудием воспользовался преступник; танатоведу важно, почему и как он это сделал. Пока понятно, да?

Усталое мычание, на сей раз утвердительное.

– Орудия, м-да, орудия... Они могут быть неотъемлемой частью исполнителя, как, например, стамеска – неотъемлемая составная плотника. А могут быть из кости и плоти, как вот эти (взяв руки Хью в свои, потрепав каждую по очереди, покачав их на ладонях не то для обозрения, не то затевая какую-то детскую игру).

Большие кисти рук были возвращены Хью, как две пустые тарелки. Затем ему было сказано, что в процессе удушения взрослого человека, как правило, используется один из двух методов: самостоятельная, не очень результативная, фронтальная атака или более профессиональный захват с тыла. В первом случае восемь пальцев крепко сжимают затылок жертвы, тогда как два больших пальца сдавливают его или ее горло; при этом, однако, есть риск, что ее руки вцепятся в запястья или как-то иначе отобьют нападение. Второй, куда более надежный, способ заключается в сильном сдавливании двумя большими пальцами затылка молодого человека или, предпочтительно, девушки, остальные пальцы, как вы понимаете, у нее на горле. Мы называем первый захват «двойняшкой», а второй – «октавой». Нам известно, что вы напали сзади, но возникает вопрос: когда вы замыслили задушить жену, почему была выбрана

«октава»? Не потому ли, что инстинктивно понимали, что энергичная, внезапная хватка дает большую вероятность успеха? Или были другие, субъективные соображения, – например, вы полагали, что вам может не понравиться перемена в выражении ее лица в самом процессе?

Ничего он не замышлял. Спал в продолжение всего этого кошмарного машинального акта, проснувшись лишь в момент падения вместе с нею с кровати на пол.

Кажется, он упомянул, что ему приснился пожар в квартире?

Совершенно верно. Язычки пламени высывались отовсюду, и в алом мареве пылала пластиковая обшивка. Его случайная подруга по сновидению широко распахнула окно. Кто такая? Она пришла из прошлого, проститутка, которую он подцепил однажды, во время первой своей поездки в Швейцарию, около двадцати лет назад, бедная малютка смешанных кровей, нет, американка, ужасно милая, по имени Джулия, нет, Джульетта Ромео (по-староитальянски Ромео значит «пилигрим», все мы, в сущности, странники, а наши сны – анаграммы дневной действительности). Он ринулся за ней, чтобы помешать ей выбраться из окна. Окно было большое и низкое, с широким подоконником, обитым плюшем и покрытым простыней, как принято в этой стране пламени и льда. Какие рассветы, какие ледники! Джулия или Джульетта в доплеровском свечении, накинута на голое тело, улеглась на подоконник, раскинув руки, касавшиеся оконных створок. Он посмотрел, перегнувшись через нее, и там, далеко внизу, в пропасти не то двора, не то сада, те же огненные язычки шевелились, как гирлянды красной бумаги, которые скрытый вентилятор заставляет дрожать вокруг фальшивых рождественских поленьев в праздничных витринах занесенного снегом детства. Выпрыгнуть или попытаться спуститься по связанным узлами простыням (завязывание узлов продемонстрировала средневековая фламандская торговка в зеркале на театральном заднике сновидения) показалось ему безумием, и бедняга Хью сделал все, что мог, чтобы удержать Джульетту. Пытаясь не выпустить ее из рук, он обхватил ее за шею сзади, его большие пальцы с квадратными ногтями впились в подсвеченный фиолетовым сиянием затылок, а восемь других сдавили горло. Дергающаяся трахея представилась ему как на экране научно-популярного кино через дворик или улочку напротив, в остальном же все оказалось безопасно и просто: он удачно стиснул Джулию и спас бы ее от верной гибели, если бы в своем самоубийственном стремлении убежать от пожара она не соскользнула с карниза, увлекая и его за собой в пропасть. Какое падение! Глупышка Джульетта! Какая удача, что мистер Ромео все еще держит, и выкручивает, и рвет эти хрящи и связки, просвечиваемые рентгеном под наблюдением пожарных и горных проводников. Какой полет! Супермен несет юную душу в своих объятиях.

Удар о землю был куда менее сокрушительным, чем он ожидал. Это какой-то разнузданный апофеоз, Персон, а не сон пациента. Я буду вынужден подать на вас рапорт. Он ушиб локоть, ее ночной столик упал вместе с лампой, стаканом и книгой; но, слава богу, она была в безопасности, она была с ним, она лежала вполне безмятежно. Он потянулся за упавшей лампой и едва не включил ее прямо на полу. Не мог понять, что делает здесь, внизу, его жена, лежащая ничком рядом с ним, волосы растрепаны, как после полета. Затем уставился на свои

Дорогой Фил! Это, несомненно, мое последнее письмо к Вам. Я уйду от Вас. Уйду к другому, еще более крупному Издателю. Там меня будут внимательно вычитывать херувимы или печатать с ошибками бесы, в зависимости от департамента, к которому будет приписана моя бедная душа. Итак, прощайте, дорогой друг, и пусть Ваш наследник продаст это письмо с аукциона с большой выгодой для себя.

Рукописное исполнение письма объясняется тем, что я не хочу, чтобы его прочел Тут-и-Тамворт или один из его ганимедов-секретарей. Я смертельно болен после неудавшейся операции и лежу в единственной отдельной палате болонской больницы. Добросердечная молоденькая медсестра, которая отправит это письмо, объяснила мне посредством ужасных распиливающих жестов нечто, за что я ей заплатил так же щедро, как оплатил бы ее услуги, если бы еще оставался мужчиной. В сущности, услуги смертного знания стоят дороже, чем любовная благосклонность. По сообщению моего маленького шпиона с миндалевидными глазами, знаменитый хирург, да сгниет его печень заживо, солгал, когда объявил мне вчера с загробной усмешкой, что operazione прошла perfetta. Так вот, операция была превосходной в том смысле, в каком Эйлер называл ноль совершенным числом. В действительности они меня вспороли, взглянули с ужасом на мою разложившуюся *fegato*[18] и, не прикасаясь к ней, зашили меня снова.

Не стану Вам докучать проблемой Тамворта. Вы бы видели самодовольное выражение на бородатом лице этого долговязого типа, когда он навел на меня сегодня утром. Как Вам известно, как известно всем, даже Марион, он вырыл себе нору в моих делах, прополз в каждый угол, овладел каждым моим словом, звучащим с немецким акцентом, так что теперь может по-босвелловски распорядиться мертвецом, как распоряжался мной при жизни. Вот почему я пишу также своему и Вашему адвокатам о мерах, которые желательно предпринять после моего ухода, чтобы возвести барьеры перед Тамвортом на всех поворотах его извилистого лабиринта.

Единственный ребенок, когда-либо любимый мной, – это обольстительная дуреха, маленькая предательница Джулия Мур. Каждый цент и сантим, принадлежащие мне, так же как и все литературные объедки, которые удастся вытрясти из мертвой хватки Тамворта, должны достаться ей, каковы бы ни были двусмысленные туманности в моем завещании: Сэм знает, что я имею в виду, и будет действовать в соответствии с этим.

Два последних тома моей эпопеи в Ваших руках. Жалею, что не Хью Персон завершит их публикацию. По прочтении этого письма не пишите мне, что получили его, но вместо этого в качестве условного знака,

по которому я пойму, что вы его прочли, угостите меня старыми сплетнями, какими-нибудь новыми сведениями о Персоне, почему, например, он все-таки загремел в тюрьму на год или больше, если решили, что он действовал в состоянии эпилептического транса, почему он был переведен в лечебницу для душевнобольных преступников, хотя после пересмотра дела преступления в его действиях не нашли. И почему он болтался между тюрьмой и психушкой еще пять или шесть лет, прежде чем стать пациентом частной клиники? И лечение снов – разве это не шарлатанство? Напишите мне подробно обо всем, потому что Персон был одним из самых симпатичных людей, которых я знал, и также потому, что контрабандой Вы сможете протащить разнообразные сведения для бедной моей души в Вашем письме о нем.

Бедной души – это, знаете ли, точно сказано. Моя злосчастная печень тяжела, как отвергнутая рукопись; они умудряются с помощью частых инъекций держать кошмарную гиену боли на расстоянии, но так или иначе она всегда при мне, как приглушенный гул снежной лавины, стирающей постепенно все постройки моего воображения, все межевые столбы моего сознательного «я». Это смешно, но я раньше думал, что умирающие видят тщету достижений, суетность славы, страсти, искусства и так далее. Думал, что драгоценные воспоминания в уме умирающего затмевают повседневный сор, но сейчас я чувствую обратное: мои самые ничтожные ощущения приобрели гигантские пропорции. Вся солнечная система не более чем отражение в стеклышке моих (или Ваших) ручных часов. Чем больше я съеживаюсь, тем больше становлюсь. Полагаю, что это необычное явление. Абсолютное отрицание всех религий, придуманных человеком, и абсолютное самообладание перед лицом бесследного исчезновения! Я мог бы изложить все это в одной большой книге, и она стала бы новой библией, а ее автор – основателем новой веры. Книга эта не будет написана, и не только потому, что умирающему не до книг, но и потому, что этот умирающий не способен сконденсировать все это в одной вспышке, понять которую можно лишь мгновенно.

Заметка на полях: получено в день смерти автора, поместить в папку «Письма R».

Персону никогда не нравились собственные ступни. Они казались ему неуклюжими и слишком чувствительными. Даже будучи взрослым, он избегал смотреть на них, раздеваясь. Его раздражала американская манера ходить дома босиком, возвращение не то в детство, не то в простые и бережливые времена По спине пробегали мурашки, когда ноготь застревал в шелковом носке. Так вздрагивает женщина, наступив на резиновую игрушку, издающую писк. Стопы ног были неуклюжи, слабы и всегда болели. Покупка обуви напоминала визит к зубному врачу. Сейчас он с неприязнью смотрел на обувную коробку, купленную им в

Бриге по пути в Витт. Ничто не упаковывают с такой дьявольской аккуратностью, как ботинки! Содрать с них бумагу! Этот процесс принес ему облегчение. Эту пару отвратительно тяжелых альпинистских ботинок он уже примерял в магазине. По размеру они, пожалуй, ему подходили, но, конечно же, не были так удобны, как уверял продавец. Размер – то его, но попробуй их надень! Он натянул их со стоном и зашнуровал с проклятиями. Как бы то ни было, с этим придется смириться. Восхождение, задуманное им, нельзя было проделать в обычной обуви: когда однажды он это попробовал, то все время терял равновесие на скользких камнях. Что касается новых башмаков, то они по крайней мере не съезжали на каверзных выступах и уступах. Он вспомнил мозоли, натертые другой такой же кожаной парой, приобретенной им восемь лет назад и выброшенной при расставании с Виттом. Левая тогда жала тоже чуть меньше, чем правая, – жалкое утешение.

Он снял тяжелую черную куртку и надел старую штормовку. Когда шел по коридору, споткнулся на трех ступенях возле лифта. И расценил это как предупреждение о предстоящем страдании. Но постарался проигнорировать маленький зазубренный краешек боли и закурил сигарету.

Для второразрядных гостиниц типично то, что лучший вид на горы открывается из окна в коридоре с северной стороны. Вверху темные, почти черные хребты с белыми прожилками, некоторые из них сливаются с сумрачными, нависшими над ними тучами, другие укутаны в пушистую облачную вату, ниже курчавится хвоя елей и сосен, еще ниже – светлая зелень полей. Меланхоличные громады! Воплощение земной тяжести и горя.

Сама долина с городком Витт и несколькими деревушками вдоль узкой речки состояла из жалких маленьких пастбищ, разгороженных колючей проволокой, с высокими разросшимися лопухами в качестве единственного украшения. Река была прямая, как канал, и утопала в зарослях ольхи. Для глаз простора хватало, но взгляд не находил удовольствия ни вблизи, ни на дальнем плане, ни в этой пыльной коровьей тропе, взбирающейся под прямым углом по скошенному скату, ни в геометрически расчерченной плантации лиственниц на противоположном склоне.

Первый этап его нынешнего паломничества (Персон в душе был пилигримом, подобно своему галльскому предку, поэту-католику и почти святому) состоял из шествия через Витт к горстке шале, разместившихся над ним. Сам городок показался еще безобразнее и неопрятнее, чем был когда-то. Он узнал фонтан, и банк, и церковь, и большой каштан, и кафе. А еще почта с одинокой скамьей, как будто поджидающей писем, которые так и не пришли.

Он перешел через мостик, не пожелав вслушаться в грубый шум потока, который ничего не говорил его сердцу. Поверху холм был прикрыт шеренгой елок, а за ними проступали другие ели – туманные призраки подкрепления в сероватом боевом порядке под нахмуренными тучами. Проложили новую дорогу и построили новые дома, вытеснив те немногие приметы, которые он запомнил или думал, что помнит.

Теперь предстояло найти виллу «Настя», все еще сохранившую абсурдное уменьшительное русское имя мертвой старухи. Она продала ее незадолго до смерти бездетной английской чете. Он бы взглянул на крыльцо, как пользуются глянцевым паспорту, чтобы вставить в него фотографию из прошлого.

Хью потоптался на перекрестке. Рядом женщина торговала овощами с лотка. *Est-ce que vous savez, Madame...*[19] Да, она знает, вверх по этой улочке. Пока она объясняла, большой белый дрожащий пес выполз из-за ящика, и с шоком бессмысленного узнавания Хью вспомнил, что восемь лет назад однажды останавливался здесь и был обыскан этой собакой, которая казалась довольно старой уже тогда и теперь похвалялась баснословным возрастом, дабы послужить его слепому воспоминанию.

Местность стала неузнаваемой, за вычетом беленой стены. Сердце билось, как после тяжелого подъема. Белокурая девочка с бадминтонной ракеткой присела на корточки, чтобы поднять волан. И тут он увидел виллу «Настя», теперь перекрашенную в небесно-голубой цвет. Все окна были закрыты ставнями.

23

Выбирая одну из обозначенных на указателе тропинок, ведущих в горы, Хью опознал еще одну примету прошлого – почтенного зрителя при скамьях, оскверненных птицами, скамьях таких же старых, как он, рассыхавшихся на тенистых площадках там и тут, бурая листва понизу, зеленая – поверху, по краям весьма идиллической тропы, поднимающейся к водопаду. Он вспомнил дымящуюся трубку во рту зрителя, утыканную богемскими самоцветами в полном соответствии с прыщами на его носу, а также привычку Арманды обмениваться непристойностями на швейцарском немецком со старым хреном, пока тот рассматривал сор под перекладами сиденья.

Туристам теперь предлагалось дополнительное число маршрутов и канатных дорог, а кроме того, автомобильное шоссе соединяло Витт с фуникулером, до которого Арманда и ее друзья добирались пешком. В свое время Хью тщательно изучил туристическую карту – схему нежности, диаграмму страдания, вывешенную на рекламном щите около почтамта. Захоти он достичь с комфортом ледниковых склонов, он мог бы воспользоваться новым автобусом, связывавшим Витт с фуникулером в Драконите. Тем не менее Хью решил совершить восхождение трудоемким старым способом и пройти через заветный лес по пути наверх. Он надеялся, что кабина в Драконите будет такой, какой он ее запомнил, – маленькой, с двумя скамьями напротив друг друга. Она ходила на высоте метров пяти над травянистым склоном в просеке между елями и ольшаником. Через каждые тридцать секунд ее встряхивало и бросало в

дрожь при прохождении очередной опоры, а в остальное время она скользила, не роняя своего достоинства.

Память Хью соединила в одну несколько лесных дорог и просек, служивших прологом к первому препятствию – грудам камней и зарослям рододендрона, через которые приходилось продираться, чтобы достичь канатной дороги. Неудивительно, что он сбился с пути.

Тем временем воспоминания продолжали двигаться в своем отдельном русле. Опять он тяжело дышал за ее равнодушной к нему спиной. Опять она дразнила Жака, статного швейцарца, с рыжими по-лисьи волосками на теле и мечтательными глазами. И снова она кокетничала с вычурными английскими близнецами, называвшими ущелья щелочками, а горные пики – бубнами. Хью, несмотря на мощное телосложение, не имел ни таких легких, ни таких ног, чтобы угнаться за ними даже в воспоминаниях. И когда четверка, ускорив темп восхождения, исчезла со своими жуткими ледорубами, веревочными снастями и другими пыточными приспособлениями (инструментарий, изощренность которого была преувеличена его неосведомленностью), он уселся на камень и, глядя вниз, сквозь клубящуюся дымку, казалось, ощущал состав горных пород, по которым прошел со своими истязателями, и даже процесс горообразования, вздымавшегося как будто вместе с его колотящимся сердцем со дна доисторического моря. Всякий раз его призывали не отставать еще до выхода из леса – жалкого скопления старых елок, покатых грязных тропинок и зарослей влажного кипрея.

Теперь он продирался через этот лес, дыша так же трудно, как в те дни, когда преследовал золотистый затылок Арманды или колоссальный рюкзак на голых мужских плечах. Очень скоро он почувствовал, как на суставе третьего пальца правой ноги, под давлением башмака, образовался маленький красный глазок содранной кожи, прожигавший каждую его мысль нестерпимой болью. Все-таки он выбрался из леса на усыпанный камнями луг и увидел хлев, который, как ему показалось, он помнил, но ни ручья, где он однажды мыл ноги, ни сломанного мостика, соединявшего в его памяти прошлое с настоящим, почему-то не было. Он продолжил свой путь. Небо вроде бы прояснилось, но солнце время от времени снова заходило за тучку. Тропинка вывела его к пастбищу. Он заметил большую белую бабочку, распростертую на камне. Ее, словно бумажные, крылья в черных точках с бледными малиновыми прожилками были оторочены прозрачной каймой с некрасивыми мятыми складками, подрагивавшими на безрадостном ветерке. Хью не любил насекомых, а эта бабочка показалась особенно отталкивающей. Тем не менее из сострадания к ней он преодолел желание раздавить ее ногой. Со смутной мыслью, что она, должно быть, устала, проголодалась и ее следовало бы перенести на ближайший островок мелких розовых цветов, склонился над ней, но с пугливым шорохом она уклонилась от носового платка, лениво взмахнула крыльями, преодолевая силу тяжести, и улетела прочь.

Он подошел к указателю. Сорок пять минут до Ламмершпица, два с половиной часа до Римперштейна. Это не было похоже на дорогу к фуникулеру. Указанные направления казались скучны, как бред.

Круглолобые серые камни с заплатами темного мха и бледно-зеленого

лишайника устилали дорогу за указателем. Он посмотрел на облака, похожие на клочья ваты, застрявшей меж зубцами гор. Не было смысла идти дальше. Проходила ли она тут, отпечатались ли сложный узор ее подошв на этой глине? Он заметил остатки одинокого пикника; поодаль белела яичная скорлупа, истолченная рукой еще одного одинокого туриста, сидевшего здесь незадолго до него; валялся скомканный полиэтиленовый пакет, в который быстрые женские пальцы маленькими щипцами так старательно укладывали на фабрике продолговатые яблочные дольки, чернослив, орехи, изюм, липкие кусочки банана, – содержимое давно съедено. Пелена дождя скоро все заслонит. Он почувствовал лысиной первые капли дождя и зашагал назад, к лесу и вдовству.

Дни наподобие этого дают зрению отдых и позволяют другим чувствам работать с большей отдачей. С неба и земли были смыты все краски. Дождь шел, или притворялся, что шел, или не шел вовсе, и все же, казалось, он шел в том смысле, в каком только некоторые старые северные диалекты способны выразить словесно или не выразить, а передать стихами, так сказать посредством тени звука, этот шум, производимый в зеленоватой дымке мелким дождем в благодарных кустах шиповника. «Дождь идет в Вюртемберге, но не в Витгенштейне». Темная шутка из «Фигуральностей».

24

Прямое вмешательство в жизнь персонажа не входит в нашу компетенцию, а с другой стороны, выражаясь фигурально, его судьба не есть череда неизбежных предначертаний: некоторые «будущие» события могут быть вероятнее других, о'кей, но все они – химеры, и каждое причинно-следственное звено дело случая, даже если петля и впрямь затянулась вокруг вашей шеи, а тупая толпа уже затаила дыхание.

Какой бы воцарился хаос, если бы кое-кто из нас поддерживал мистера Икс, тогда как другие покровительствовали мисс Джулии Мур, чьи интересы, столь экзотические, как восточная диктатура, вошли бы в противоречие с интересами ее больного старого жениха, того самого мистера, нынче лорда Икс. Самое большее, на что мы способны, подталкивая нашего любимца в оптимальном направлении и с симпатией, не влекущей за собой ущерба для прочих, – это действовать как дуновение эола, используя легчайшее, самое косвенное давление, такое, как попытка спровоцировать сон, который, мы надеемся, наш избранник назовет пророческим, если вероятное событие действительно произойдет. На печатной странице слова «вероятное» и «действительно» следует тоже набрать курсивом, чтобы показать легкое дыхание ветерка, наклоняющее эти буквы. Мы нуждаемся в курсиве в отличие от авторов детских книг, хотя куда нам до их причуд и странностей!

Земной путь не прямолинеен, он похож на кружение в маскарадных одеждах вокруг собственного «я»: так овощи из нашей первой книжки с

картинками окружали мальчика во сне – зеленый огурец, синий баклажан, красная свекла, картофелина–папа, картофелина–сын, по–девичьи тонкая спаржа и, ой–ей–ей, многие другие, их хоровод ускоряется и ускоряется, постепенно превращаясь в полупрозрачное кольцо полосатой раскраски вокруг мертвого персонажа или планеты.

И вот еще чего нам не стоит делать: объяснять необъяснимое. Кое–кто из смертных привык жить с тяжелым вывихом, предположением, что «реальность» – это не более чем «сон». Но было бы еще чудовищней, если бы ощущение сходства сна и реальности оказалось тоже сном, со встроенной в него галлюцинацией! И все же следует помнить, что нет миража без горизонта, как не бывает озерца без замкнутого контура прочной земли.

Мы обнаружили, что не можем обойтись без кавычек («реальность», «сон»). Поистине значки, которыми Хью Персон и сейчас испещряет поля корректуры, имеют метафизический и зодиакальный смысл! «От праха к праху» (мертвецы – народ компанейский, это по крайней мере ясно). Пациент одной из психушек, плохой человек, но хороший философ, будучи смертельно больным (жуткая фраза, которую не вылечишь никакими кавычками), записал в «Альбоме лечебниц и тюрем» Хью (разновидность дневника, который тот вел в эти кошмарные годы): «Принято считать, что человек, удостоверься он в существовании жизни после смерти, решил или оказался бы на пути к решению загадки бытия. Увы, две эти проблемы не обязательно сопряжены или связаны».

Прервем дальнейшее обсуждение на этой диковинной записи.

25

Чего ты ждал от своего паломничества, Персон? Лишь зеркального повторения старых пыток? Сочувствия от старого камня? Принудительного воссоздания невозстановимых пустяков? Поисков утраченного времени в самом прямом смысле этих простоватых переводных стишков «Je me souviens, je me souviens de la maison où je suis né»[20] или поистине прустовского обретенного времени? Он не испытал здесь ничего (только один раз во время последнего подъема), кроме скуки и горечи. Что–то другое заставило его вернуться в унылый, скучный Витт.

Не вера в приведения. Кому захочется являться в виде пара (он не знал, что Жак был погребен под шестью футами снега в Чуте, штат Колорадо) на туристских маршрутах или в лачуге, добраться до которой ему помешали некие чары и чье название оказалось безнадежно перепутанным с «Драконитой» (алкогольный напиток, больше не производимый, но все еще рекламируемый на заборах и отвесных скалах). И все же нечто связанное с миром призраков заставило его проделать путь на другой континент. Сделаем пояснение.

Практически все сны, в которых она являлась ему после смерти, разворачивались на фоне не американской зимы, а швейцарских гор и итальянских озер. Он даже не нашел то место в лесу, где громкоголосая стайка маленьких туристов прервала незабываемый поцелуй. А ведь главной целью был момент контакта с ее подлинной сущностью в точно запомнившейся обстановке.

Вернувшись в гостиницу «Аскот», он жадно съел яблоко, стянул со стоном облегчения испачканные глиной башмаки и, не обращая внимания на мокрые носки и мозоли, залез в удобные городские туфли. Теперь опять к мучительному занятию!

Надеясь, что какая-нибудь маленькая зрительная подсказка поможет ему вспомнить номер комнаты, которую он занимал восемь лет назад, Хью прошел вдоль всего коридора третьего этажа и, чувствуя на себе пустые взгляды последовательных номеров, вдруг остановился: уловка сработала. Он увидел три черные цифры «313» на белой двери и моментально вспомнил, как говорил Арманде (обещала навестить его и боялась быть замеченной): «Мнемонически можно представить три фигурки в профиль: заключенный, идущий меж двух стражников, один – впереди, другой – сзади». Арманде возразила, что это слишком вычурно для нее, она просто запишет номер в записную книжку, лежавшую у нее в сумочке.

Собака протявкала за дверь: знак, сказал он себе, обитаемости жилья. Тем не менее эксперимент доставил ему удовольствие – удалось восстановить драгоценный кусочек прошлой жизни.

Затем он спустился вниз и попросил хорошенькую администраторшу позвонить в гостиницу в Стрезе, чтобы выяснить, может ли он получить дня на два комнату, где мистер и миссис Персон останавливались восемь лет назад. В какую гостиницу? Что-то вроде «Бью-Ромео». Она повторила название в правильной форме («Борромео») и сказала, что потребуется некоторое время. Он решил подождать в холле.

Там находились двое: дама, что-то евшая в дальнем углу (ресторан был закрыт, его не успели еще привести в порядок после фарсовой потасовки), и швейцарский бизнесмен, листавший потрепанный, очень старый номер американского журнала (Хью оставил его здесь восемь лет назад, но эту линию сюжета некому проследить). Столик перед швейцарским джентльменом был завален гостиничными проспектами и относительно недавними еженедельниками. Локоть его опирался на «Трансатлантик». Хью потянул за журнал, джентльмен буквально подпрыгнул на стуле. Извинения и контризывинения переросли в диалог. Английский месье Уайльда во многих отношениях напоминал язык Арманды как грамматически, так и интонационно. Его до крайней степени шокировала статья в «Трансатлантике» (одолжил его на минуту у Хью, пошлунул большой палец, нашел нужное место и, похлопывая по странице тыльной стороной ладони, вернул эту пакость, открытую на возмутительной статье).

– Тут пишут о человеке, убившем свою супругу восемь лет назад и...

Администраторша, чей бюст над стойкой он видел отсюда в миниатюре, подавала ему знаки издалека. Она вышла из укрытия и направилась к нему.

— Они не отвечают, — сказала она, — хотите, чтобы я продолжала дозваниваться?

— Да, да, — сказал Хью, встав и наткнувшись на кого-то (на даму, только что завернувшую жирные объедки окорока в бумажную салфетку и теперь спешившую в выходу). — Да. Ой, простите! Да, дозвонитесь, ради бога, через справочную или еще как-нибудь.

Представляете, этот убийца получил жизнь, в виде пожизненного срока, восемь лет назад (так вот что получил Персон восемь лет назад, но растратил, растратил все это в кошмарном сне!), и теперь вдруг его выпустили, потому что, видите ли, он был примерным арестантом и даже учил своих сокамерников шахматам и эсперанто (а ведь наш Персон заядлый эсперантист), разным способом печь тыквенный пирог (Персон и впрямь был дока по части всякой выпечки), знакам зодиака, игре в подкидного дурачка, и так далее. Увы, для присяжных нынче задушить Фемиду так же просто, как насильнику — фемину.

Форменное безобразие, продолжал швейцарский джентльмен, пользуясь выражением, которое Арманда переняла от Джулии (теперь леди Икс), — форменное безобразие, как потекают преступности в наши дни. Не далее как сегодня мстительный официант, уличенный в краже ящика гостиничного вина (месье Уайльд, между прочем, рекомендовал другое), заехал метрдотелю в глаз, поставив тому здоровенный синяк, и пообещал еще кое-что погорячей. Вы думаете, гостиница обратилась в полицию? Черта с два, сэр, ничего подобного. Eh bien, что на самом верху, что на дне — ситуация одинакова. Интересовался ли когда-нибудь его двуязычный собеседник проблемой тюрем?

О да, будьте уверены. Он сам сидел, был госпитализирован, опять сидел, дважды представал перед судом за удушение юной американки (теперь леди Икс): «В одной из тюрем у меня был жуткий сокамерник — в продолжение целого года. Будь я поэтом — но я всего лишь корректор, — описал бы небесную природу одиночного заключения, радость чистого сортира, свободу мысли в идеальной тюрьме. Задача тюрьмы (улыбаясь месье Уайльду, взглянувшему на часы, но ничего не увидевшему), конечно же, не вылечить убийцу и не только наказать его: можно ли наказать человека, у которого все при нем, внутри него, вокруг него? Ее единственная задача, очень будничная, но логически неоспоримая, — помочь убийце избежать рецидива. Исправление? Поручительство? Не более чем химера или шутка. Животное не исправишь. С мелкими воришками вообще не стоит возиться: в их случае достаточно наказания. В наши дни получили хождение некоторые ошибочные тенденции в так называемых либеральных кругах. Скажу без обиняков: душегуб, считающий себя жертвой, не только убийца, но и дегенерат».

— Пожалуй, мне пора, — поскучив, сказал бедняга Уайльд.

— Психбольницы, лазареты, лечебницы — обо всем этом я тоже знаю не

понаслышке. Жить на отделении в компании примерно тридцати подлинных идиотов – это, доложу я вам, настоящий ад. Притворялся буйным, чтобы получить отдельную палату или быть запертым в изоляторе, – несказанный рай для такого пациента, как я. Казаться ненормальным – это был мой единственный шанс оставаться вменяемым. Тернистый путь. Атлетически сложенный санитар-тяжеловес любил наносить мне прямой удар меж двух оплеух – и я возвращался к благословенному одиночеству. Подумать только, всякий раз, когда мое дело отправлялось на пересмотр, тюремный психиатр в своем заключении жаловался на мой отказ обсуждать с ним то, что на его жаргоне называлось «супружеским сексом». С грустной радостью и грустной гордостью могу утверждать, что ни тюремщики (некоторые из них гуманны и остроумны), ни фрейдистские ищейки (все они болваны или жулики) не сломили и никак не изменили печального индивида, можно сказать персонажа, каким я являюсь.

Месье Уайльд, все-таки приняв его за пьяного или сумасшедшего, пошатываясь, ретировался. Хорошенькая администраторша (плоть остается плотью, пунцовое жало остается l'aiguillon rouge, и моя любовь не стала бы ревновать) снова принялась подавать ему знаки. Он встал и подошел к стойке. Гостиница в Стрезе была закрыта на ремонт после пожара. Mais (приподнят симпатичный указательный пальчик)...

Всю свою жизнь, отдадим ему должное, наш Персон испытывал странное чувство, знакомое трем знаменитым богословам и двум второстепенным поэтам, присутствия позади, за его плечом, большого, куда более мудрого, чем он, спокойного и сильного незнакомца, нравственно его превосходящего. Это и был, в сущности, его главный «теневой спутник» (критик-клоун напал на R. за этот эпитет), но когда бы не вышеназванная прозрачная тень, мы бы не стали себя утруждать рассказом о нашем славном Персоне. Еще во время короткой своей пробежки между креслом в холле и этой девушкой, с ее восхитительной шеей, пухлыми губами, длинными ресницами и задрапированными прелестями, Персон отдавал себе отчет, что некто или нечто предупреждает его о необходимости сейчас же покинуть Витт в направлении Вероны, Флоренции, Рима, Таормины, если Стреза для него закрыта. Но он не послушался своей тени и, наверное, по большому счету, был прав. А мы-то думали, что ему еще предстоят годы земного прозябания; мы готовы были даже смахнуть, как перышко, эту девушку в его постель, но, в конце концов, ему решать, ему умирать, если он того захотел.

Mais! (междометие сильнее, чем союз «но» или «однако») у нее для него хорошие новости. Он хотел перебраться на третий этаж, не так ли? Сегодня он может это сделать. Дама с собачкой уезжает после двенадцати. Кстати, весьма занятная история. Оказывается, ее муж присматривал за собаками, пока их хозяева находились в отъезде. Дама, отправляясь в очередное путешествие, обычно брала с собой одного из животных, выбирая из тех, что поменьше и помеланхоличнее. Нынешним утром ее муж позвонил и сказал, что хозяин вернулся раньше, чем предполагалось, и с дикими воплями требовал вернуть своего любимца.

Гостиничный carnotzet[21], довольно жалкое место, декорированный в пасторальном стиле, был почти пуст, но на завтра ожидалось два больших семейства, а также должен или был бы должен появиться (складки глагольного времени пребывают в полном беспорядке по отношению к наблюдаемому нами пространству) очень милый маленький ручеек немцев во второй, более дешевой половине августа. Незнакомая толстуха в фольклорном костюме, выставляющем напоказ изрядное количество кремового бюста, сменила младшего из двух официантов, и черный синяк оттенял левый глаз угрюмого метрдотеля. Нашему Персону предстояло перебраться в 313 номер сразу после обеда; он отметил предстоящее событие, выпив умеренную дозу Кровавого Ивана (водка с томатным соком) перед гороховым супом, бутылкой рейнвейна со свининой (загримированной под «телячьи котлетки») и двойным коньяком с кофе. Месье Уайльд смотрел в другую сторону, пока спятивший или накачавшийся наркотиками американец проходил мимо его столика.

Комната была в точности такой, какая требовалась или потребуется (опять путаница с временами!) для свидания с нею. Кровать в левом ближнем углу стояла аккуратно покрытая попоной, и горничная, которая вскоре постучит или может постучать перед тем, как войти, не будет или не должна быть допущена, если соответствующие декорации, все эти двери и кровати, еще сохранятся. На прикроватном столике не начатая пачка сигарет и дорожный будильник соседствовали с нарядно завернутой коробкой, содержавшей зеленую статуэтку лыжницы, просвечивавшую сквозь двойную обертку. Маленький коврик у кровати, того же бледно-голубого цвета, что и покрывало, был все еще подоткнут под ночной столик, но поскольку она заранее отказалась (чопорная! капризная!) остаться до рассвета, то не увидит, так никогда и не увидит этот маленький смиренный коврик, верный своему долгу встретить первый солнечный зайчик и принять прикосновение заклеенных пластырем пальцев ноги нашего героя. Букет из васильков и колокольчиков (их разноголосые оттенки затеяли любовную ссору) был поставлен либо помощником управляющего, уважавшим чувства, либо самим Персоном в вазочку на комоде рядом с неряшливо брошенным галстуком, являвшим третью разновидность голубизны, но другого материала и фасона («шелковый шалопай»). Смесь брюссельской капусты и картофельного пюре, живописно перемешанную с розоватым мясом, удалось бы разглядеть, если как следует настроить фокус, совершающую энергичные пертурбации в пищеварительных недрах Персона, а также различить в этом месиве комков и слизи две или три яблочные косточки – жалкие остатки предыдущей трапезы. Его сердце, вылепленное в форме слезы, по своим размерам казалось недостаточным для такого детины.

Возвращаясь на общепринятый уровень, мы видим черный плащ Персона на крюке и пепельно-серый костюм на спинке стула. Под маленьким письменным столом с множеством бесполезных ящиков, пребывающим в правом углу освещенной лампой комнаты, на дне мусорной корзины,

недавно вытряхнутой горничной, остался кусочек сала и обрывок бумажной салфетки. Маленький шпиц дремлет на заднем сиденье «гамилькара», который ведет супруга хозяина собачьего приюта назад в Трю.

Персон зашел в ванную, облегчил мочевой пузырь и подумал было принять душ, но она могла прийти в любую минуту, если только вообще придет! Он надел свой нарядный свитер с черепашим воротом и достал последнюю таблетку снотворного, о которой помнил, но не сразу обнаружил в кармане пиджака (забавно, какие трудности испытывают иные люди при попытке с первого взгляда различить правую и левую стороны пиджака, повешенного на спинку стула). Она любила говорить, что настоящий мужчина должен быть всегда безупречно одет, но слишком часто мыться ему не следует. Запах мужских подмышек может, утверждала она, быть весьма привлекательным в определенных ситуациях, и только дамы и горничные пользуются дезодорантами. Никогда в своей жизни он никого и ничего не ждал в таком возбуждении. Его лоб покрылся испариной, его трясло, коридор оставался пустынным и безмолвным, постояльцы гостиницы, которых было не так уж много, в основном находились в фойе, болтая, играя в карты или просто сладко балансируя на зыбкой грани сна. Он откинул покрывало и положил голову на подушку, в то время как каблуки его ботинок все еще касались пола. Наши новички любят наблюдать за такими забавными пустяками, как неглубокая лунка в подушке, видимая сквозь лоб персонажа, лобную кость, зыблущийся мозг, затылочную кость, кожу на затылке и черные волосы на нем. В начале нашего неизменно ошеломительного, иногда пугающего инобытия такого рода невинное любопытство (ребенок, играющий с зыблущимися преломлениями в воде ручья, чернокожая монахиня в заполярном монастыре, с восхищением прикасающаяся к хрупкому механизму своего первого одуванчика) вполне простительно, особенно если персонаж и тени сопутствующей ему материи прослеживаются от колыбели до морга. Персон, наш персонаж, находясь на воображаемой грани воображаемого блаженства, когда слышались шаги Арманды, вычеркнул оба эпитета на полях корректуры, всегда слишком узких для исправлений и вопросов. Вот где дрожь искусства пробегает по позвоночнику с куда большей силой, чем сексуальный восторг или метафизический ужас.

В этот момент ее теперь не поддающегося вычеркиванию появления сквозь прозрачную дверь его комнаты он почувствовал возбуждение, свойственное авиапассажиру при взлете – и (воспользуемся неогомеровской метафорой) земля наклоняется, затем возвращается в горизонтальное положение, и, не успев опомниться, мы оказываемся в тысяче метров от земли, над облаками (пушистыми, легкими, очень белыми, более или менее широко разбросанными), словно покоимся на предметном стекле в небесной лаборатории, и сквозь это стекло, далеко внизу, проступают кусочки пряничной земли с инкрустацией селений, изъеденный склон холма, круглое озерцо кубового цвета, густая зелень соснового бора. Входит стюардесса с разноцветными напитками, это Арманда, только что принявшая его предложение выйти за него замуж, хотя он предупреждал, что она многое переоценивает: удовольствие от вечеринок в Нью-Йорке, важность его работы, будущее наследство, писчебумажный бизнес его дядюшки, горы Вермонта, – и тут самолет разваливается и взрывается сухим кашлем.

Кашляя, Персон приподнялся и сел; в удушливой тьме он попробовал зажечь свет, но щелчок выключателя был так же неэффективен, как попытка пошевелить парализованной конечностью. Поскольку кровать в его прежнем номере на четвертом этаже стояла далеко от окна, он по ошибке бросился к двери и приоткрыл ее, вместо того чтобы спастись, что казалось ему возможным, через окно, которое не было закрыто и распахнулось еще шире, как только смертоносный сквозняк втолкнул в комнату дым из коридора.

Огонь, сначала питавшийся промасленными тряпками, подброшенными в подвал, а затем усиленный горючей жидкостью, разлитой тут и там на ступенях и стенах мстительной рукой, стремительно распространялся по гостинице, хотя, «к счастью», как выразилась на следующее утро местная газета, «погибли немногие, поскольку большинство комнат пустовало».

Теперь язычки пламени карабкались по ступеням, по двое, по трое, цепочкой краснокожих, рука об руку, воин за воином, быстро переговариваясь и распевая. И все-таки не их жар, а ядовитый черный дым вынудил Персона отступить в комнату; «excusez-moi», – сказал вежливый огонек, проскальзывая в открытую дверь, которую Персон тщетно пытался закрыть. Окно захлопнулось с такой силой, что стекла разлетелись дождем рубиновых осколков, и он понял, задыхаясь, что буря снаружи помогает пожару внутри. Он еще попытался выбраться вон, но с этой стороны здания не было ни балконов, ни карнизов. Он был уже у окна, когда длинный язычок с лиловой каймой, пританцовывая, остановил его изящным жестом одетой в перчатку руки. Через рушащиеся деревянные оштукатуренные перегородки до его слуха донеслись человеческие крики, и одно из его последних ошибочных представлений состояло в том, что это возгласы людей, спешащих ему на помощь, а не вопли товарищей по несчастью. Разноцветные вихри кружились вокруг него, напомнив ему вдруг страшную картинку в детской книжке о торжествующих овощах, вращающихся все быстрее над мальчиком в ночной рубашке, отчаянно пытающимся проснуться и стряхнуть головокружительное светящееся сновидение. Последним откровением стала раскаленная книга или коробка, совсем прозрачная и пустая. Вот оно, как мне хочется верить, не грубое страдание физической смерти, а ни с чем не сравнимые муки таинственного душевного маневра, необходимого для перехода из одного бытия в другое.

Что я тебе скажу? Полегче, мой мальчик.

Примечания

Прекрасная комната (фр.).

2

«Одежда. Наша распродажа подчищает все до конца» (фр.).

3

Значок над е во французском языке.

4

3 фотографии – 3 позы; oseés – рискованные (фр.).

5

Омар по-американски (фр.).

6

«Частица de плохо бы сочеталась с последним слогом моего имени» (фр.).

7

Распахни свой наряд, Деженир (фр.).

8

Расскажите мне о ее (фр.).

9

Законченный фашист (фр.).

10

Нет, напротив (фр.).

11

Родимым пятнышком (фр.).

12

Тогда идем в дом (фр.).

13

Невольного соглядтая (фр.).

14

Здравствуйте (нем.).

15

Вытаращенностью (фр.).

16

С видом знатока (фр.).

17

Кнуд Великий (ок. 995–1035) – король Дании, Англии и Норвегии.

18

Печень (ит.).

19

Не знаете ли вы, мадам... (фр.)

20

Помню, помню дом, где я родился (фр.).

21

Ресторан (швейц. нем.).